

Николай Углов



# СОЛЕННОЕ ДЕТСТВО В ЗОНЕ

Том 1. Детство в ГУЛАГе

Николай Углов

**Соленое детство в зоне.  
Том 1. Детство в ГУЛАГе**

«Издательские решения»

**Углов Н.**

Соленое детство в зоне. Том 1. Детство в ГУЛАГе / Н. Углов —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-859721-3

Война. Отец главного героя — офицер Красной армии ранен, излечивается в больнице Ростова. Город заняли немцы, и он попал в плен. При освобождении города Красной армией ему дали 10 лет, а жену с двумя малолетними детьми сослали в Сибирь. Семья терпит невероятные трудности. Два года они живут на грани смерти в телятнике. Спасает детдом. Герой полюбил чтение книг и заводит дневник, где описывает все события, которые легли в основу книги.

ISBN 978-5-44-859721-3

© Углов Н.  
© Издательские решения

## Содержание

Аннотация к книге	6
Глава 1	7
Начало	8
Глава 2	12
Война	13
Глава 3	20
Город – госпиталь	21
Глава 4	24
Начало репрессий	25
Глава 5	29
Беда	30
Глава 6	35
Мучения	36
Глава 7	41
Страдания	42
Глава 8	48
Голод	49
Глава 9	56
БОЛЬНИЦА	57
Глава 10	62
Спасение	63
Глава 11	69
Детдом	70
Глава 12	75
Друзья и враги	76
Конец ознакомительного фрагмента.	77

# Соленое детство в зоне Том 1. Детство в ГУЛАГе

**Николай Владимирович Углов**

*Посвящаю светлой памяти  
моей матери Анны Филипповны Угловой и отца  
Владимира Ивановича*

© Николай Владимирович Углов, 2017

ISBN 978-5-4485-9721-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



## Аннотация к книге

«Солёное детство в зоне»

Война. Отец главного героя – офицер Красной армии ранен, и излечивается в больнице Ростова. Город заняли немцы, и он попал в плен. При освобождении города Красной армией ему дали 10 лет, а жену с двумя малолетними детьми сослали в Сибирь. Семья терпит невероятные трудности. Два года они живут на грани смерти в телятнике. Спасает детдом. Герой полюбил чтение книг и заводит дневник, где описывает все события, которые легли в основу книги.



Приняло участие 800 авторов из 20 стран мира

# Глава 1

## Начало

Дом, в котором я родился, находится на краю города Кисловодска в конце улицы Революции. Он и сейчас носит номер 116. Просто удивительно! Маленький домик с подвалом построил ещё до революции бедный казак дед Филипп из камня, который ломал близ горы Кабан и возил на тачке.

По этой улице в девятнадцатом году шли в горы красноармейцы, отступая под напором белоказаков. Голодные, оборванные, злые, с воспалёнными глазами, они медленно шли по улице (раненые на бричках) в район горы Кабан. Их цель была – достичь станицы Юца, а затем соединиться с нашими войсками в Нальчике.

По этой же улице позже ворвались на конях в город уже весёлые, шумливые, разгорячённые короткой схваткой на Белой речке красноармейцы. И с того времени улица стала называться именем Революции. Забегая вперёд, скажу, что и в 1942 году по улице Революции отступали в горы небольшие части Красной армии, когда им немцы отрезали путь на Минводы.

В предвоенные годы мать работала санитаркой в санатории, а отец здесь же десятником. К санаторию пристраивали большой шестигранный корпус, прозванный в народе «Гайкой». Часто приезжал на строительство сам Орджоникидзе (его именем и назвали впоследствии санаторий).

Строительство санатория начали 1 апреля 1936 г., а первых отдыхающих приняли уже в 1938 г.

Мать и отец работали много, задерживались, и нашим воспитанием занималась строгая бабушка Капитолина. Мы с братом Шуркой и сестрёнкой Валею целыми днями играли, лезли, куда не следует, дрались и бабушка постоянно разнимала нас, шлёпала, ничего не разрешала трогать, никуда не пускала и т. д. Вечером приходил отец, сажал меня на шею, я ему рассказывал «о проделках бабки», и мы шли в сад (а он у нас был большой), где отец угощал меня чем-нибудь вкусным. В то время в садах у всех росли и прекрасно плодоносили крупные персики, абрикосы, груши, яблоки, вишни, черешня и французские сливы – сейчас и в помине нет такого. Или мелкота, или совсем перестали родиться отменные фрукты. Бабушка Капитолина часто уходила в горы собирать кизяки – сухие коровьи «лепёшки». Коров держали почти в каждом дворе и кизяками тогда топили печи, т. к. дрова и тем более уголь были в страшном дефиците. Летом она собирала в горах всевозможные травы, осенью – шиповник и боярышник. Как только бабушка уходила в горы, отец сразу покупал нам мёд или халву и мы все пировали. Но всё-таки мы все однажды «попались» бабке, она кричала на весь двор на отца и мать:

– Сладкоеды! Ну, вы-то бы, взрослые, постыдились! В доме ни гроша!

Отец и мать побаивались Капитолины и молчали. Баба Капитолина была просто влюблена в горы. Она уходила на весь день и потом часто рассказывала, как хорошо в горах. Там была уйма цветов, перепелов и змей. Она ходила в горах и стучала, шуршала палкой впереди себя, отпугивая змей. Ей постоянно встречались охотники, обвешанные, как пулемётными лентами, десятками перепёлок. Наш сосед Старков косил сено для коровы, бычков и двух ишаков на горе Кабан. Он рассказывал:

– Какая красотища в горах! Трава выше пояса, родники, тучи перепелов. Утром начинаю ворошить сено – выползают десятки чёрных и серых гадюк. А в распадах все деревья облеплены коричневыми майскими жуками. Как гроздь винограда! Тряхнёшь дерево – они, как град, на голову посыпятся!

Практически в каждом саду кисловодчан выращивались вкуснейшие огромные помидоры и маленькие «пупыри» – огурцы, которые солили на зиму бочками. А сейчас попробуйте вырастить такие овощи! Крупные обильные фрукты, экологически чистые помидоры, огурцы, великолепные цветы, перепела, змеи, майские жуки – где это сейчас? Нет их, потому что сей-

час ужасная экология от незакрытых урановых разработок в районе города Лермонтова, химкомбинатов Невинномысска и Будённовска (нас гробят «кислые дожди»), а также от десятков тысяч автомашин. Колорадский жук, клещи, тля, другие вредители – даже комары появились в Кисловодске! А амброзия и ядовитый борщевник в курортном парке и окрестностях? От них у детей и взрослых бывают ожоги и нарывы! Вся эта гадость от деятельности человека. Мы сгубили природу!

Подолгу и часто у нас бывали в гостях две другие бабушки Оля и Фрося Павловы – сёстры Капитолины. Они жили вдвоём в станице Каменноосткой и, кроме нас, у них никого не было. Всегда привозили нам, ребягнэ, много всяческих гостинцев, подарков. Бабушка Оля привозила всегда дары леса: вкусные шишки, орехи, лесные груши – дички и яблоки. Всё это она собирала в лесах Кабарды. А баба Фрося приезжала всегда румяная, весёлая и с шутками, прибаутками развязывала мешок и выпускала живых, нарядных и красивых петухов и кур. Цветастые крупные петухи, встряхнувшись, начинали громко кукарекать, приводя нас в неописуемый восторг. Постепенно у нас образовалась группа из 15 – 20 птиц, которые проживали в сарайчике, сделанном отцом для них в саду и на которых мы любовались часами. Мать часто просила бабу Капитолину зарезать одного, двух петушков, но скуповатая бабушка всё откладывала это мероприятие.

Как-то ночью мы проснулись от стука и крика и выскочили на остеклённую веранду. Баба Капитолина, полураздетая, открыв форточку, стучала по полу кочергой и громко кричала в сад:

– Володя, да проснись же! Воры! Бери ружьё! Стреляй!

Мы все трое детей, дрожа от страха и озноба, тоже барабанили ладошками по стёклам и громко кричали по совету бабушки, зовя отца и мать, хотя прекрасно знали, что они ещё вчера уехали к бабушке Оле и Фросе. В саду орудовали неясные тени, кудахтали куры и басовито «матерились» наши великолепные петухи, исчезая в мешках воров, не обращавших никакого внимания на угрозы бабки Капитолины. Воры, как я теперь понимаю, были местные соседи и прекрасно знали, что никакого ружья у нас нет, а отец уехал. Так мы распрощались с красивыми петушками и долго сожалели и плакали об их судьбе. А бабушка ворчала:

– Проклятые воры! Чтобы они обосрались! Дура я, дура! Лучше бы лап-ши детям из петушков наварила!

В Кисловодске в то время проживало 35—40 тыс. человек, не было практически асфальтированных дорог, не ходили автобусы, не было больших зданий (только несколько санаториев), люди проживали только в частном секторе. Городок был небольшой, уютный, море зелени и цветов, на улицах не было автомобилей, люди ходили пешком, а грузы перевозились на лошадях и осликах. Паровозы, приходящие на железнодорожный вокзал в центре города, разворачивали в обратную сторону вручную по рельсам на большом круге (там, где сейчас привокзальная площадь). В своё время город начинал строиться с горы Пикет, где стояли казаки. Вниз от Пикета начиналась старая часть города, где проживали русские и грузины, а сверху над этой частью города – армяне (сейчас «Армянский посёлок»). Дальше, западнее был район Изрюм (сейчас Бермамыт; жили кабардинцы и карачаевцы), внизу Центр, на въезде станица Минутка (жили казаки), на востоке Будённовка (жили так называемые «опоимцы») и в северо-западной части города Попова Доля (жили в просторечье, «мужики»). Сразу же за нашей улицей через гору находилась широкая безлесная долина или балка, которая называлась Свиной (сейчас там кладбище). В этой балке была городская свалка, и всегда там находилось много свиней, ковырявшихся в мусоре. А тогда свиней выращивали практически в каждом дворе. На склонах балки мы с отцом часто корчевали пни на растопку. Лес находился в самом углу балки (его запрещали рубить, но всё равно тайком вырубались все окрестные леса вокруг Кисловодска), где среди скал протекал ручей, а где-то в пещере там жил медведь. Так пугал меня отец, чтобы я не ходилтуда.

Как-то я стоял на склоне горы (мы забрались высоко в гору под самый лес), наблюдая, как ловко отец корчует пень и вдруг страшный и неожиданный удар в спину опрокинул меня. Я дико заорал от боли и страха, а отец в несколько прыжков был возле меня, поднял, успокоил, и здорово огрел хворостинной чёрного козла, который, оказывается, шёл во главе стада по своей тропинке, на которой я стоял.

Мать наша была семнадцатой в беднейшей казацкой семье и единственным выжившим ребёнком (вот какая тогда была смертность среди детей!). Она была очень красивая женщина, но прихрамывала с детства на одну ногу. Несмотря на это, отец её очень любил и дорожил ею.

Отец очень любил ходить на парады, демонстрации. В одной руке он держит флаг, в другой меня. Весь светлый, в белой рубашке с высоким воротником, понизу яркой, навывпуск, подпоясанный тесёмкой, белые брюки, парусиновые туфли – он идёт и громко поёт:

– Широка, страна моя родная!

Я визжу от восторга и счастья, что-то кричу и машу руками, возбуждаюсь до предела и тяну отца, требуя ещё пройти перед трибуной. Вечерами отец, читая газеты, с тревогой говорил о какой-то Германии и войне, но ни мать, ни баба Капитолина не поддерживали разговоров о международных событиях. Но когда приезжали из Георгиевска три отцовых брата – Иван, Пётр и Василий, то разговоров о политике хватало за полночь. Иван, Пётр были такие же высокие, как отец, а дядя Вася был ниже их на пол головы, но также похож на братьев. Все они усаживались в саду за столом, мы забирались к ним на колени и любили слушать их бесконечные споры о международном положении Советской страны.

– Ну, понесло теперь до утра, дипломаты!

– ворчала баба Капитолина, притаскивая в сад огромный самовар. Ничего крепче чая братья никогда не пили.

Финляндия, Прибалтика, Бессарабия, Япония, Польша, Западная Белоруссия и Украина, Сталин и Гитлер – я постоянно слышал эти слова. Самый рассудительный и старший из братьев Иван часто говорил:

– Небольшая наша война уже идёт и на Западе и на Востоке. Но это только цветочки. Боюсь, ребятки, и нам придётся воевать. Скорее всего, с Англией. Но и Германия, хоть мы и заключили с ней мирный договор, ненадёжна. Она может и с Англией заключить договор против нас и это будет ужасная война! Впереди Советский Союз ждёт страшное испытание! Дай Бог, нам всё это выдержать и выжить.

Все замолкали и было страшно от этих слов. Последующие события показали, что Иван был близок к истине.

Отец купил мне большое количество оловянных солдат, четыре зенитных пушки, по два самолёта, танка и пулемёта. С тех пор военные баталии занимали меня часами.

– Петька, бей из пулемёта! Справа конница! Заходи сзади! Петька, бом-бят! Держись!

– крик стоял в комнате во время сражений. Я мог, выдумывая варианты, часами самозабвенно играть один со своим главным напарником Петькой. И я накликал войну! В то время практически не было никаких средств информации (интернета, телевидения, радио, телефонов, а газеты выписывали единицы) и поэтому основным источником новостей был... базар. Там люди обменивались новостями, прислушивались к грамотным и знающим людям, а потом «разносили» всё это по домам.

Базар в Кисловодске находился в районе улицы Кольцовой, Подгорной. Там сейчас стоит большой дом. На базар приезжали со всех сёл. Торговали скотиной, лошадьми, ослами, свиньями, птицей, зерном, картофелем и овощами. А из соседних аулов приходили парни-карачаевцы наниматься копать огороды, косить сено, выполнять хозработы горожанам. Это был своеобразный рынок труда. Стоят, сидят, лежат на соломе ребята (в основном почти всегда босые), а на бирках на груди и на пятках мелом, углём нарисована цифра – это цена за сотку вскапывания земли, косьбы, сгребания, копнения и т. д.

Всё это мне рассказывали бабушки.

## **Глава 2**

## Война

*Пленных у нас нет! Есть предатели!*  
*Иосиф Сталин*

Разговоры на базаре становились день ото дня всё тревожнее и беспокойнее. Базар просто гудел! Люди собирались кучками, спорили, кричали, что-то доказывали друг другу.

И вот в одно утро чрезвычайно встревожен-ная баба Капитолина, придя с рынка, с порога закричала:

– Нюся, Володя! Война!

Было воскресенье и все мы находились дома в саду. Отец подбежал к бабушке и закричал:

– С кем?

– С немцами,

– заплакала бабушка и прижала нас к груди. Отец сразу куда-то засобирался. Мать спросила:

– Ты куда?

– В военкомат!

– ответил отец. Мать взволнованно закричала:

– Зачем? Мы что, надоели тебе? Когда надо – призовут. Зачем самому лезть на рожон?

Отец сухо ответил:

– Это не обсуждается.

Мать расплакалась.

В первые три дня войны в городе записались добровольцами на фронт более 700 человек. А всего на войну ушло 10,5 тысяч кисловодчан – четвертая часть населения города! Половина из них не вернулась назад!

А вскоре мы провожали отца на войну. Мы все семеро (приехали бабушки Оля и Фрося) шли с отцом к месту призыва. Мама и три бабушки плакали, а нам – детям, не хотелось. На товарной станции было много народа, шумно, играли гармонь. Отец попрощался со всеми, крепко прижал меня к себе и на своих губах я ощутил его солёные слёзы. Высокий, сухой командир выкрикнул:

– Углов!

– Я!

– ответил отец и стал в строй, сутулый, в фуфайке, какой-то поникший и родной мне.

И тут я понял, что это всерьёз, что отец уходит от меня, может быть, навечно и я закричал, заплакал вместе с Шуркой и Валечкой:

– Папка, не ходи туда! Иди к нам! Вернись!

Рыдая, мать упала в обморок, нас всех еле оттащили и увели домой.

Ивана и Петра на проводах не было, т. к. их призвали в Георгиевске на день раньше и они так и не успели попрощаться с нами. Дядя Вася незадолго перед этим уехал на остров Сахалин – его назначили директором рыбного завода в городе Оха.

Вскорости получили от отца письмо, где он сообщал, что воюет с румынами в чине старшего лейтенанта, руководит взводом пулемётчиков и сам лично уже убил несколько солдат, коней из крупнокалиберного пулемёта, стреляет и по более крупным целям.

С уходом отца на фронт в доме стало как-то тихо, мы все посерьёзтели. Мама, часто глядя на нас, плакала, а бабушка вздыхала и зачастую в красную церковь. Так мы называли Пантелеймоновскую церковь, построенную в 1912 году в районе Ребровой балки и варварски разрушенную большевиками-безбожниками в середине 60-х годов. В этой церкви крестились,

венчались и отпевались все наши родные. В 1995 г. там построили часовню, а сейчас там строится Пантелеймоновский храм.

Жить становилось всё труднее, со стола исчезли все лакомства. Мать теперь работала в этом же санатории санитаркой по уходу за ранеными красноармейцами, которые стали поступать с фронта.

8 августа 1941 г. в Кисловодск прибыл первый эшелон с ранеными бойцами. В городе на базе санаториев было создано 39 госпиталей на 22 тысячи раненых. Санаторий стал называться госпиталем, ему присвоили №3176. Всего за время войны возвращено в строй более 600 тысяч бойцов (82% лечившихся в нашем городе). Простая арифметика показывает, что около 108 тысяч бойцов Красной Армии стали калеками или умерло в госпиталях и похоронено в районе ул. Цандера. Ужасная цифра! Вечная память вам, наши славные воины!

Мать работала по 12—14 часов. Приходя домой уставшая, какая-то потерянная, она рассказывала, плача, бабушке Капитолине:

– Ужас, что делается! Сколько бойцов – молодых, здоровых ребят привозят ежедневно и сколько помирает – десятки. Сколько крови, страданий! Как они кричат, мама! Я не выдержу этого! Господи! За что так мучаются люди? Проклятые немцы!

В конце третьего месяца войны пришло известие, что Пётр – младший из братьев, погиб на фронте где-то в Белоруссии. Он так и не женился и не завёл семью до войны. Все три бабушки (приехали Оля и Фрося) три дня ходили в церковь, в доме горели свечи перед иконами, все плакали, вспоминая его.

Беда не приходит одна. Через месяц после гибели Петра простудилась, собирая кизяки с нами, моя сестрёнка Валечка и через девять дней скончалась от крупозного воспаления лёгких.

Смерть уже ворвалась в наш дом. Затосковала по Валечке, похудела, почернела и слегла наша Капитолина Тарасьевна, да так и не встала больше.

От отца пришло известие, что он ранен в руку и ногу (отняли два пальца на ноге), весь обморожен, лежит в больнице Ростова.

В начале лета 1942 года пришло известие, что на Воронежском фронте убит старший из братьев – Иван Иванович.

Теперь было ясно, что не напрасно спорили в саду наши дяди и отец о Германии. Она оказалась ещё сильнее, ещё коварнее, опаснее – шапками её не закидаешь.

Немцы были уже рядом. По ночам небо над Кисловодском гудело – это немецкие лётчики летели мимо бомбить Грозный и Орджоникидзе (так говорили в госпитале).

Как-то ночью мы проснулись от страшного грохота. В тёмном небе стоял сплошной вой. Вылетали, разбиваясь, стёкла на веранде, истошно лаяли собаки во дворах соседей, заголосили, запричитали обе бабушки (они недавно приехали насовсем к нам) и мать.

– Немцы пришли! Нас бомбят!

– кричали бабушки.

Но, как оказалось утром, это было не совсем так. Нас двоих полуголых, сонных и насмерть перепуганных детей, мать быстро повела через веранду во двор, чтобы спрятать в подвале. Спускаясь по деревянной лестнице, я глянул в тёмное небо и обомлел. Эта картина осталась в моей памяти навечно. Две яркие параллельные строчки трассирующих пуль летели прямо над нами в сторону Красивого Кургана. Очередь была длинной и непрерывной – это было необычное зрелище.

А сзади – за домом, всё так же гремело и бухало. Только утром мы узнали, что прямо над нашим домом на небольшой горке (сейчас туда практически дошло кладбище) наши разместили и спрятали в кустах два зенитных орудия, которые и подняли такой грохот ночью. С той поры они каждую ночь стреляли по немецким самолётам, летевшим в сторону Баку.

Мы утром с Шуркой решили посмотреть зенитки. Очень хитро их замаскировали в ёлках! Но вдруг, как из-под земли, перед нами возник пожилой усатый красноармеец и строго сказал:

– Ну-ка, домой, мальцы! Быстро! И чтобы я вас здесь больше не видел!

И добавил уже шутливо:

– А то арестую!

Больше мы туда не ходили.

Теперь каждое утро наш сосед Беляй (его вросший в землю дом – предпоследний на чётной стороне улицы Революции и сейчас стоит на том же месте), шатаясь (он всегда был пьяный), ходил по нашей и соседним улицам с деревянным плоским ящиком со стеклом на плече и кричал:

– Стёкла выбиваем, новые вставляем!

Его охотно приглашали хозяйки, т. к. зенитки добавили работёнки старику Беляеву.

Мать ещё больше стала бояться за отца, вестей от него больше не было, а Ростов, где в больнице он лежал, давно заняли немцы. Часто поздним вечером достанет отцову любимую серую рубаху или белую косоворотку, уткнётся в них и плачет тихонько, что-то вспоминая.

Белая рубаха до сих пор хранится у нас (ей уже под восемьдесят) – достаём мы её раз в год, смотрим, вспоминаем, плачем об отце. Я смотрю на последнее фото отца. Он обнимает нас троих детей и с доброй усмешкой смотрит мне прямо в глаза и как бы говорит мне:

– «Не горюй, Коля! Не плачь сын! Ничего уже не вернёшь! Это хорошо, что ты помнишь обо мне. И не жалея меня – не такие уж мы несчастливцы. Жизнь не вернёшь, она одна у человека! Доживи ты достойно, не тревожь и не бери своё сердце напрасными слезами!»

Немцы особо не бомбили Кисловодск, но всё же раза три были налёты на город. На товарной станции, вокзале и на Минутке около железнодорожного моста упали несколько бомб, полностью разворотило один дом и хату, убило одну женщину и легко ранило, контузило несколько человек. Мы ходили смотреть – было страшно. Но особенно немцы не старались. Они, видно, хотели сберечь санатории для отдыха своих солдат, т. к. были уверены, что курорт они скоро займут.

Бабушки Оля и Фрося, когда поняли, что немцы идут на Кавказ, решили пешком добраться к нам из своей станицы Каменноостской. По дороге они встречали отступающие отряды бойцов. Легкораненые шли пешком, а тяжелораненые лежали на повозках. Гнали много скота, отары овец. Ехал на быках, осликах и редко на конях со скарбом нескончаемый поток людей. На них косились, но ничего не говорили. Все были молчаливы, угрюмы и злы.

В Кисловодске давно уже началась эвакуация населения и раненых. Ценных заводов и фабрик у нас не было, но некоторые крупные госпитали, здания, вокзал и железную дорогу, а также мост на въезде в город стали минировать. Впоследствии мы узнали, что взорвали только товарную станцию и часть железной дороги, а остальные объекты решили почему-то не взрывать.

И вдруг всё движение прекратилось. Всё затихло. Перестали по ночам бухать две наши зенитки – их уже увезли. Днём и по ночам изредка по нашей улице проносились на конях и машинах в сторону горы Кабан последние отступающие чекисты – подрывники. Одну чёрную «эмку» догнал немецкий самолёт и разбомбил за Белой речкой. Рассказывали, что люди спаслись и пошли пешком в горы, а машина сгорела.

А потом на целую неделю в городе воцарилось безвластие. Немцы прошли через Минводы и не спешили занимать Кисловодск. Этим воспользовались ушлые люди, и в городе начался грабёж. Сначала робко и по ночам, а затем всё более смелея, они начали взламывать продовольственные и промтоварные магазины, а также базы и склады.

Мать продолжала ходить на работу в госпиталь и ухаживать за тяжелоранеными, которых в спешке не успели вывезти. Она говорила, что продовольствие, медикаменты, бинты заканчиваются, и весь оставшийся персонал не знает, что дальше делать.

Все в городе осмелели и также начали тащить всё подряд. Бабушки Оля и Фрося тоже приносили ежедневно из ближайшего магазина «Станпо» (в конце улицы) макароны, крупы, муку и сахар.

Как они спасли этим всех нас!

Этот магазин и сейчас находится там и ему недавно вернули прежнее название. Наши соседи тоже тащили всё подряд, но в основном вещи и мебель из санаториев: столы, стулья, диваны, подушки, одеяла, простыни и др. Как показали дальнейшие события, этот грабёж многим вышел «боком», они не раз пожалели об этом.

Я запомнил, как Беляй по улице нёс огромное зеркало, ежеминутно отдыхая.

Как-то соседка Фролова вечером крикнула матери:

– Нюска! Говорят, на товарной станции стоит полная цистерна с растительным маслом и там уже третий день его достают. Пошли бабок туда с вёдрами – может и им нальют. А то неизвестно, что будет при немцах, и как мы будем жить, а масло пригодится.

Бабушки на следующий день чуть свет были уже там с вёдрами. Человек 40—50 уже толпилось перед цистерной. Всё кругом было в масле. Двое мужиков, поочерёдно меняясь, багром с крючком доставали ведром масло и переливали очередной женщине. Цистерна уже наполовину была опустошена. Дошла очередь и до бабушек – им налили четыре ведра. Они отошли в сторону и разговорились со знакомой. И вдруг один мужик с цистерны закричал:

– Бог ты мой! Тут труп в цистерне!

Оказывается, этой ночью какой-то мужичок маленького роста пришёл уже, видно, затемно к цистерне. Полез на неё, сорвался вниз и утонул. Или плавать не умел, или пьяный был, или хлебнул масла при падении, т. к. стенки круглые и скользкие. Труп вытащили и, как ни в чём не бывало, продолжали черпать масло.

Все припасы бабушки спрятали в небольшой погреб, который находился в торце веранды и люк которого был замаскирован – на нём стоял огромный старый шкаф. И это нас спасло от голода!

9 августа 1942 года в город вошли немцы. Это случилось тихо и неожиданно. Соседи передавали друг другу:

– Немцы, немцы в городе!

На досках объявлений появились первые распоряжения и приказы коменданта. На улицах начали разъезжать необычные машины и мотоциклы. Солдаты в зелёной форме парами передвигались на велосипедах. Откуда-то появились наши полицаи с белыми повязками на рукавах.

Медперсонал санаториев переписали по фамилиям, адресам и велели никуда не выезжать из города. Первое время фашисты не особенно зверствовали. Везде говорили, что будут арестовывать семьи комиссаров, активных коммунистов, командиров Красной Армии и евреев. И это подтвердилось!

Мать принесла с базара (он начал опять работать, и товаров поначалу там было даже больше, чем при советской власти) листовку. Военный комендант Поль через созданный оккупантами Еврейский комитет предъявил ультиматум:

– в срок до 8 сентября 1942 года всем евреям внести контрибуцию в пользу Германии золотом, ценностями и вещами на сумму в пять миллионов рублей.

Ограбив «до ниточки» евреев, комендант провёл их регистрацию. Они должны были носить на груди специальный жетон – жёлтую шестиконечную звезду Давида. Уплата контрибуции не спасла от гибели еврейское население. Появился второй приказ. Там было написано:

– *Приказ евреям города Кисловодска! Всем евреям, как прописанным в городе, так и живущим без прописки, явиться 9 сентября 1942 года в 5 часов утра по берлинскому времени на товарную станцию города. Эшелон отходит в 7 часов московского времени. Цель высылки евреев – заселение малонаселённых районов Украины. Переселению подлежат и те евреи, которые приняли крещение. Не подлежат переселению семьи, у которых один из родителей еврей, а другой русский, украинец или гражданин другой национальности, а также граждане смешанного происхождения. Комендант города Поль.*

Около 2 тысяч евреев посадили на 18 железнодорожных платформ и в два крытых товарных вагона. Состав под вооружённой охраной прибыл на станцию Минеральные Воды. И в противотанковом рву, близ стекольного завода, прибывших вместе с евреями из других городов Кавминвод (всего более 6 тысяч человек), расстреляли.

Но не все евреи Кисловодска выполнили приказ военного коменданта и об этом ему стало известно от наших подлецов сексотов. После этого немцы с полицией стали ходить по дворам проверять, кто где живёт, расспрашивать всё о соседях.

И здесь я вынужден сказать горькую правду. Многие поступали подло, предавая друг друга. Желая выслужиться перед немцами, некоторые подонки выдавали евреев и активистов, а то и прямо сводили счёты с неугодными соседями.

На базаре начались облавы и в одну из них попали наши обе бабушки. Всех согнали в кучу, выстроили в ряды. Кругом фашисты с автоматами, полицаи (их даже больше), собаки. Долговязый немец кричит на ломаном русском языке:

– Коммиссар, лётнант, официир, йююде – выходи!

Никто не выходит. Тогда немцы, грубо расталкивая всех, отобрали несколько десятков человек и увели.

Местное отделение Абвера (контрразведка) располагалось в особняке, где сейчас находится музей «Дача Шаляпина», а Гестапо (начальник Вельбен, его помощник Вебер) у немцев находилось там же, где в своё время зверствовали НКВД-шники: в здании городской прокуратуры по ул. Красноармейской. Камеры, пытки и расстрелы осуществлялись по соседству – в мрачном трёхэтажном кирпичном здании в центре города по пер. Сапёрному. Там и сейчас находится структура ФСБ.

Я в 1964—1965 г. работал техником в Управлении главного архитектора г. Кисловодска, которое располагалось на третьем этаже этого здания, а два нижних занимало Управление КГБ. И вот что скажу. С балкона третьего этажа, который выходил во внутренний двор, открывалась мрачная картина. Глухой дворик полумесяцем был вымощен булыжником, со всех сторон огромные 20-метровые каменные подпорные стены превращали двор в колодец, а рядом с подпорной стеной находился канализационный люк без крышки (только решётка).

Пожилой геодезист УГА Зозуля рассказывал мне (мы стояли на балконе):

– Вот в этот двор после пыток в подвалах, гебисты выводили несчастных, ставили лицом к подпорной стене и ночами расстреливали. Кровь стекала вот в тот канализационный колодец с решёткой. После расстрела трупы заключённых куда-то увозили на машинах, а кровь смывали из шланга водой.

Другой его напарник геодезист Иван Струсь добавлял:

– Да, Николай, мне тоже об этом мой отец рассказывал. Они жили тогда вот в этом доме напротив и по ночам слышали выстрелы. Много лет это продолжалось. Все так боялись попасться на глаза НКВД-шникам!

Так вот, немцы продолжили уничтожение людей в этом здании. Затем, когда поток арестованных возрос, их стали вывозить за город и расстреливали у реки Подкумок выше мебельной фабрики. Все говорили, что немцы мстили за партизан.

Как мы узнали впоследствии, 1 августа 1942 года в городе был создан партизанский отряд имени Лермонтова. Партизанский отряд действовал до 11 января 1943 года (день освобождения

ния Кисловодска от фашистов) и насчитывал более 70 бойцов. Первое время бойцы отряда, стараясь не привлекать внимания немцев, в городе не проводили никаких акций и спокойно проживали в хатах на окраинах города. Собираясь в балках за городом, отряд проводил разведывательно-диверсионную работу, помогал эвакуации в Кабарде, истреблял десятки полицейских и бандитов-мародёров, переправил через перевалы в Грузию несколько тысяч голов скота. Самым значительным достижением отряда было внезапное нападение ранним утром 21 сентября на гарнизон станицы Каменноострой на реке Малка (родины бабушек Оли и Фроси). Тогда было уничтожено более сотни гитлеровцев, сожжено более тридцати автомашин и мотоциклов. Затем было нападение на Хабаз – уничтожено 80 солдат вермахта. Были успешные рейды отряда на Гунделен, Кизбуруг, Кинжал, Баксан, Тырнауз, Зюково.

В одном из районов отряд попал в засаду и немцы узнали, что партизаны из Кисловодска. В городе начались массовые аресты и расстрелы. Немцы с полицейскими ходили по улицам, стреляли собак, обыскивали дома.

Как-то холодным осенним днём калитка распахнулась. Мы обомлели: во двор ввалились два огромных фрица в зелёной форме. Мы с Шуркой от страха присели. Один немец наставил автомат на нас, закричал:

– Пук!

– и громко захохотал. Затем он спросил трясущихся бабушек:

– Матка! Курки, яйца?

Они отчаянно замотали головами:

– Нет, нет!

Немцы грубо их оттолкнули, один по пути поддел сапогом пустое ведро. Оно с грохотом покатило по двору. Затем поднялись по лестнице через веранду в комнаты, где была перепуганная мать, ослаблились:

– О, русска матка! Хорош, хорош! Зольдатен? Партизан?

Один немец, увидев строго застланную постель с горкой подушек, грохнулся на неё и начал долго раскачиваться на панцирной сетке кровати, громко хохотал и орал:

– Мяхко, мяхко!

Все пять подушек полетели на пол. Затем они успокоились, проверили, пошарили все шкафчики, рассыпали крупу и макароны, забрали килограмма два кускового синего сахара. По пути опять немцы подшутили над нами, заржали (мы с Шуркой тряслись от страха в углу двора) и ушли. Этот визит немцев врезался на всю мою жизнь, и я помню его в мельчайших деталях!

Мы долго не могли прийти в себя, а бабушки весь вечер стояли на коленях перед иконами и благодарили Бога за спасение.

Сразу после оккупации Кисловодска немцы устроили кладбище для своих солдат прямо в центре города. Там, где сейчас находится памятник Ленину напротив Колоннады, они выкапывали могилы. Хоронили своих солдат в цинковых гробах – в шинелях, касках, сапогах. Всё это рассказывала матери знакомая, которая жила в двухэтажном доме на горк есверху кладбища.

А над городом всё чаще летали наши самолёты с красными звёздами на крыльях. Люди радовались:

– «Знать, не сломлена Красная Армия! Видно немчура получила отпор! Где-то наши рядом!»

И вправду, скоро стал доноситься временами как бы весенний гром. Мы даже и не догадывались, что наши перешли в наступление. Немцы вдруг начали эвакуироваться и в спешке покидали город.

– «Неужели правда, неужели наши наступают и скоро придут?»

– говорили измаявшиеся жители.

А оставшиеся немцы просто взбесились. В городе с 1 по 8 января возле Кольцо-горы были произведены массовые расстрелы мирных жителей – всего 322 человека. А всего по официальным советским данным, как мы узнали позже, за период оккупации Кисловодска было уничтожено около 3200 граждан! Вечная память безвинным жертвам этой бойни!

В ночь на 9 января на немецком кладбище вдруг стало светло, как днём. Немцы включили прожектора, многочисленная команда быстро выкопала все гробы. Их погрузили на машины (всего более ста гробов) и увезли. Утром это стало видно – пустые могилы и горы земли. А этим же днём из города на машинах и мотоциклах уехали последние каратели. Всё! Конец оккупации!

## **Глава 3**

## Город – госпиталь

*И видится мне всё в суете мирской:  
Предсмертный тихий шепот уходящих,  
И звонкий крик младенцев приходящих...*

Через два дня в городе появились первые красноармейцы. На всех досках объявлений, на базаре, на стенах домов, на столбах появилось следующее объявление:

*«Постановление Исполкома Кисловодского городского Совета депутатов трудящихся.  
14 января 1943 года.*

*1. С сего числа в городе восстановлена советская власть.*

*2. Всем гражданам в трёхдневный срок сдать всё имущество государственных и кооперативных предприятий и учреждений. Место сбора – рынок города.*

*3. Лица, не сдавшие в указанный срок имущество, несут ответственность по законам военного времени.*

*Председатель исполкома Н. Митрофанов».*

Итак, закончилось ужасное время, люди вздохнули, повеселели, больше не боялись выходить на улицы. Открылся хлебозавод, заработало на полную мощность первое предприятие – Кисловодский Горместпромкомбинат (шили шинели, шапки, обувь – для фронта; одеяла, простыни и наволочки – для госпиталей).

Госпитали с первых же дней освобождения города начали также принимать раненых с фронтов. Мама теперь пропадала день и ночь в том же эвакогоспитале №3176 (сан. Орджоникидзе). Бабушки Оля и Фрося опять уехали в свою станицу и мы с Шуркой теперь были целыми днями вдвоём дома одни.

Недалеко от госпиталя – под горой, на улице Овражной 7 (сейчас там лестница – вход к сан. «Джинал») мать нашла для обмена дом, чтобы быть ближе к работе, прибегать – присматривать за нами, что с её хромой ногой было немаловажно.

Старый наш знакомый – хозяин Старков перевёз и своё, и наше имущество на тележке, запряженной двумя осликами. У него было много живности, и он с удовольствием менялся на самую окраину города. Вдобавок он должен был по договору доплатить две тысячи рублей, но отдал матери только пятьсот, а остальные всячески оттягивал, а затем постарался совсем забыть. Это был красномордый, ещё крепкий старик с толстой женой – купчихой (она постоянно торговала на базаре). У них всего было вдоволь и они не радовались приходу советской власти.

На Овражной, вместо пятнадцати соток великолепного сада, теперь нас было только две сотки. Мы жили на первом этаже в двух маленьких комнатах с остеклённой верандой, а над нами жила другая семья во главе с грозной бабкой Шубихой.

Мама приходила с работы очень поздно, а иногда, когда поступала очередная большая партия раненых, вообще оставалась в госпитале на ночь. Бинтов не хватало, и при госпитале организовали в прачечной их стирку. Стирали сотни метров гнойных, кровавых бинтов на обычных ребристых цинковых досках в ванночке.

В прачечной сыро, пар, вонь – бедные женщины иногда выбегали еле живые наружу – подышать чистым воздухом, их рвало. У мамы до конца жизни так и остались исковерканные, истёртые до ногтей пальцы на руках. А днём мать ухаживала за ранеными.

– Дети, что творится! – говорила мама, приходя домой. – Проклятый Гитлер! Сколько людей он загубил! Молодые – им бы жить, да жить. Умирают, кричат, стонут, проклинают всех и вся (даже нас), особенно, когда отойдут и увидят, что хирург отрезал ногу или руку. А плачут иногда – как дети!

Мама рассказывала, что всю жизнь ей снится один и тот же сон: *сотни раненых в кровавых бинтах, один врач с лампой, бегающий от одного к другому. И стоны со всех сторон:*

*– Сестричка, возьми нож и дорезь меня! Доктор, пристрели, братец, меня!*

Мать со временем привыкла к крови, слезам, крикам, проклятьям.

Кормила тяжелораненых, убирала за ними, приносила-уносила «утку», помогала врачам при операциях и перевязках. С умерших бойцов снимала бинты и стирала, стирала их горами, чтобы пустить их в ход заново. Как могла, облегчала раненым страдания, ласковым словом утешала слепых и потерявших руки-ноги. А выздоравливающим помогала писать домой письма.

А раненых поступало всё больше и больше и скоро даже все проходы были забиты койками. Кто мог в то время догадываться об истинных наших потерях? Я уже упомянул, что по официальной статистике 82% раненых выздоравливали в госпиталях (более 600 тыс. чел.), а около 108 тысяч красноармейцев выписалось из Кисловодских госпиталей калеками или умерло там. Никто не знает точной цифры умерших, но если принять условно третью часть от калек, то и это составляет ужасную цифру: 30—35 тысяч умерло в госпиталях Кисловодска!

И до прихода немцев, и после всех погибших бойцов хоронили на гражданском кладбище в районе нынешней улицы Цандера. На этом кладбище были похоронены все наши деды-бабки, а теперь там только бурьян на месте гражданского кладбища.

Проклятые большевики – почему они по всей стране методично сносили церкви и кладбища? Ни в одной стране мира нет такого! Везде чтут память предков, а у нас «иваны без совести и памяти».

Первое Кисловодское кладбище (ещё при царе) было в районенынешней улицы Ермолова, второе – на Минутке за железной дорогой. Сейчас там стоят многоквартирные дома, и люди даже и не догадываются, что живут на костях предков. Разве это правильно и хорошо? Никогда в России не будет счастья, пока мы не изменимся и не покаемся!

Так вот – до оккупации немцами города и практически весь 1943 год наших бойцов хоронили так. Всё, что я расскажу сейчас, жутко и чудовищно (особенно в свете ранее описанных похорон немцев у Колоннады – в шинелях, сапогах, касках и в цинковых гробах). Всё это рассказывали мне бабушки Оля и Фрося, не раз наблюдавшие эту ужасную процедуру (они ходили на это же гражданское кладбище к сестре – бабе Капитолине).

Ранним утром, когда ещё весь город спит, со всех госпиталей тянутся десятки подвод на лошадях с умершими за ночь красноармейцами. Брички накрыты брезентом. Подвозят трупы к общей могиле глубиной 3—3,5 метра, санитары опускают как попало (представляете себе – это самое ужасное!) по деревянному жёлобу в могилу в одном исподнем тела, затем санитар багром с крюком укладывает их в ряды. Потом следующий ряд и т. д. Уехали подводы – санитар посыпает трупы известью, опилками и накрывает их брезентом.

День и ночь могилы охранялись двумя красноармейцами, и никого посторонних близко не подпускали. Наполнилась могила – похоронная команда зарывает её и копает новую.

Всего было шесть огромных общих могил размером приблизительно 10 на 30 метров. Они сейчас угадываются левее памятника – Мемориала павшим воинам, но почему-то нет об этом даже табличек, как на Пискаревском кладбище. На могилах сейчас цветы, красиво, но нигде, ни слова мы не говорим об этом. *Почему? Почему мы продолжаем врать себе? Для чего скрывать правду?*

Правее Мемориала находятся одиночные могилы красноармейцев – это, скорее всего, условность. Я посчитал могилы—их чуть больше тысячи (а умерло-то за тридцать!). Не буду утверждать, может, и в действительности фамилии соответствуют похороненным, тем более от Мемориала вниз все захоронения уже 1944—1945 годов.

Важнее другое – ежедневное бережное отношение к захоронениям.

Не раз наблюдал картину, как подростки распивали пиво прямо на могилах. Никогда не прощу такого! Подхожу, спрашиваю:

– У вас совесть есть? Кто же ваши родители, что простым вещам вас не научили? Здесь же лежат наши солдаты – ваши деды. Это же кошунство, что вы делаете!

Правда, всегда подростки не огрызались и молча уходили. Учителям, дирекции этой школы надо постоянно напоминать школьникам об этом.

Теперь о Мемориале.

9 мая 1970 года в Кисловодске был торжественно открыт мемориальный комплекс на воинской части кладбища в районе ул. Цандера. Авторы – архитектор Фриденталь и Хоменко. Кто эти люди? Оба мне хорошо известны. Когда я в 1964 г. пришёл работать техником в УГА, то главным архитектором был Хоменко (под его началом я проработал 1,5 года).

В Кисловодске начиналось огромное строительство и Хоменко (естественно, с согласия властей) пригласил из Северодонецка 18 молодых, талантливых архитекторов, которые много сделали для процветания Кисловодска. Талантливая молодёжь вдохнула новую жизнь в наш относительно спокойный и тихий городок – это была «свежая кровь» для строительства.

*Вот кого надо делать почётными гражданами города, а не высокопоставленных чиновников, как это практикуется сейчас! И здесь всё извратили и накурлесили коммунисты!*

Так вот, с Фриденталем я даже дружил (часто согласовывал у него колеровку фасадов многоквартирных домов) и неоднократно поднимал с ним на праздники рюмочку коньяка. Это был спокойный, улыбчивый, доброжелательный, юморной человек. Его обаяние просто тянуло к нему. Когда Мемориал открыли, я подошёл к нему и, улыбаясь, сказал:

– Исаак Марьевич! А неизвестный-то солдат: твой портрет. Чистая копия! Хитрец! Себя вылепил!

Исаак подошёл вплотную, засмеялся, взял за пуговицу моей рубашки и тихо сказал:

– Николай! В войне погибло шесть миллионов евреев. Может же хоть один еврей запечатлеть себя в камне навечно за этих шесть миллионов соотечественников! Хотя бы в качестве моральной компенсации за те гроши, что я получаю!

## **Глава 4**

## Начало репрессий

*Он даже мёртвый страшен был живым,  
Когда они писали мемуары.  
Не веря, что прошедшее есть дым,  
Что выжили, что как-никак, а стары.  
Академик Захаров*

Заканчивался 1943 год, а рядом с нами и в городе разворачивалась новая трагедия целого народа – карачаевцев. Почему-то об этом мало пишут, хотя в этой истории нет ничего необычного для того ужасного времени.

Когда Красная Армия освобождала территорию, то всегда находились некоторые группы населения, которые не желали этого. Это было и в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Бессарабии, в Польше и в РСФСР.

На территории Орджоникидзевского (Ставропольского) края в 1939 году согласно переписи проживало 75 763 карачаевца. Небольшой по численности трудолюбивый народ проживал в основном в горных районах и занимался скотоводством.

В первые месяцы войны 15 600 человек – практически всё мужское население Карачаевской автономной области (КАО), было призвано в ряды Красной Армии. Кроме того, на строительство оборонительных рубежей было мобилизовано более 2 тысяч женщин и стариков.

С 12 августа 1942 года по 18 января 1943 года территория КАО была оккупирована фашистами. За это время фашисты уничтожили и вывезли 150 тысяч голов скота.

Партизанское антигерманское движение было пресечено, чему активно способствовал созданный Карачаевский национальный комитет. После отступления немцев, в январе – феврале 1943 г. этот комитет организовал восстание в Учкуланском районе.

После того, как город Микоян-Шахар (современный г. Карачаевск) был освобождён, операциями по борьбе с антисоветскими партизанами (в частности, с Балыкской армией в верховьях реки Малки) руководил лично заместитель Берии – Иван Серов.

Однако это движение не носило массового характера и не поддерживалось большинством карачаевского народа.

После разгона мятежников осудили 449 человек. 9 августа за пределы области было выслано 442 чел. карачаевских «бандглаварей». Обычная и средняя цифра для того времени для всех освобождаемых районов Союза!

И вдруг – ни с того, ни с сего принимается решение на высшем уровне о депортации целого народа! Депортация началась 2 ноября 1943 г. Было выселено 69 тысяч 267 чел. в Казахстан, Таджикистан, Иркутскую область и на Дальний Восток (2543 карачаевца было через спецкомендатуру арестовано в Красной Армии).

В силовой операции были задействованы войсковые соединения численностью 54 тыс. чел. (генерал Харьков, полковник Котляр, подполковник Кринкин).

Более 43 тысяч человек, в том числе 22 тыс. детей карачаевцев погибли в дороге, а также в местах переселения!

Сталин безжалостно раскроил территорию КАО. Вся территория области (9 тыс. кв. км.) была поделена между Ставропольским краем (Зеленчукский, Усть-Джегутинский и Кисловодский р-н), Краснодарским краем (Преградненский р-н) и Грузинской ССР (Учкуланский и Микояновский р-ны).

Столица КАО – г. Карачаевск, был переименован в г. Клухори.

14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все репрессированные народы. *Политике клеветы, геноцида, режима террора, насилия пришёл конец!*

3 мая в Карачаево-Черкесии объявлено Днём возрождения. Именно в этот день пришёл в 1957 году первый эшелон в Черкесск из депортации.

Шло лето 1944 года. Как-то матери не было долго с работы, мы были голодны, сидели на скамейке перед домом, всё глядели в сторону госпиталя (он находился напротив – на горе), ожидая мать. Уже темно на улице и моё терпение заканчивается.

– Пойдём к матери сами

– предлагаю Шурке. Он отказывается. Я пошёл потихоньку один, по серпантину поднялся к первому большому зданию. Красивые аллеи, небольшой свет, тихо играет музыка. Меня кто-то увидел, наклонился, спросил, куда я иду.

– К маме.

– А как фамилия мамы и в каком корпусе она работает?

Фамилию назвал.

Меня взяли под руку, долго водили по коридорам, наконец, увидел мать в белом халате. Она удивилась, всплеснула руками, отругала меня, велела подождать, завела в палату. Я от неожиданности опешил, съёжился, испугался, забился в угол. Кругом в белых рубашках и кальсонах лежат раненые, некоторые ходят, другие стонут, третьи забинтованы целиком и лежат молча – не видно лица. Из другой палаты хрипло крикнули:

– Сестра, «утку»!

Мать выскочила, мне заулыбались, начали приглашать:

– Подойди, мальчик, не бойся!

Начали все гладить по голове, обнимать, тискать (каждый, видно, вспомнил о своих детях). Мать зашла, позвала, я упирался и не хотел уходить – даже заплакал:

– Мама! Мне здесь хорошо! Мне всё нравится! Давай останемся!

Все смеялись. Бойцы тоже, видно, полюбили меня и просили мать приводить с собой.

С тех пор я стал почти ежедневно ходить в госпиталь и скоро все раненые знали меня. Любил ходить из палаты в палату, рассказывал что-нибудь, меня постоянно угощали чем-то. Просили рассказать какой-либо стишок, но больше мне удавались песни. Тонким дрожащим голосом, стараясь растрогать бойцов, я вывожу своего любимого «Арестанта»:

— *За тюремной большою стеною молодой арестант умирал.  
Он, склонившись на грудь головою, тихо плакал— молитву  
шептал: «Боже, Боже — ты дай мне свободу, и увидать родимых  
детей.  
И проститься с женой молодою, и обнять престарелую мать».*

Раненые перемигивались, шутили, но некоторые серьёзнили и внимательно смотрели на меня:

– Песня жизненная. Вся правда в ней. Кто научил? Коля, что ещё знаешь?

Я, расхрабравшись, начинал:

— *На опушке леса старый дуб стоит. А под этим дубом офицер  
лежит.  
Он лежит— не дышит, он как будто спит. Золотые кудри ветер  
шевелит.*

*А над ним старушка — мать его сидит. Слёзы проливая, сыну говорит:*

*«Я тебя растила — и не сберегла.*

*А теперь могила будет здесь твоя. А когда родился — батька белых бил. Где-то под Одессой голову сложил. Я вдовой осталась — пятеро детей. Ты был самый старший — Милый мой Андрей!»*

Красноармейцы переставали улыбаться, молчали, курили махорку, повторяли:

– Да, Коля, ты, оказывается – талант! Будешь артистом! А вот новая песня только-что вышла, по радио поют часто – не знаешь?

– Про Корбино? Только что выучил, – отвечаю.

– Давай!

*— Может в Корбино, может в Рязани, не ложились девушки спать.*

*Много варезжек связано было,  
для того, чтоб на фронт их послать. Вышивали их ниткой  
цветною, быстро спорился девичий труд.*

*И сидели ночью порою, и гадали, кому попадут.*

*Может лётчику, может танкисту. У отчизны есть много  
сынов.*

*Иль чумазому парню — шофёру, иль кому из отважных бойцов.  
Получил командир батальона эти варезжки-пуховики. Осыпает их  
иней, морозы,*

*но любовь не отходит от них.*

*Скоро-скоро одержим победу! Поезд тронется в светлую даль.*

*И тогда непременно заеду —  
может в Корбино, может в Рязань!*

Раненые прямо-таки светились, улыбались, а некоторые украдкой вытирали слезу.

– А что-нибудь ещё знаешь? Может весёлое?

Я охотно соглашался и под перемигивания, шутки, начинал быстро:

*— Шла машина из Тамбова—*

*под горой котёнок спал. (Два раза; второй раз – с распевом)*

*Машинист кричит котёнку:*

*«Эй, котёнок, берегись!» А котёнок отвечает:*

*«Объезжай — я спать хочу!». Машинист поехал прямо —  
отдавил котёнку хвост.*

*А котёнок рассердился — опрокинул паровоз.*

Бойцы смеялись, трепали меня по волосам, а я был несказанно горд.

С работы я возвращался вместе с матерью, без умолку рассказывал ей о своих новых знакомых, нёс Шурке подарки, игрушки. Он ни за что не соглашался ходить вместе со мной в госпиталь, но охотно поддерживал меня в новой затее.

Теперь мы с Шуркой играли только в раненых. Смастерили себе костыли и целыми днями прыгали на одной ноге или забинтовывали один глаз, ухо, рот, грудь, руку-ногу и т. д., придумывая себе ранения в самых неожиданных местах.

В госпитале у меня появились настоящие друзья, к которым я шёл в первую очередь. Один из них – лётчик, мастерил для меня из бумаги, картона, косточек из компота, сырого картофеля, бинтов и ниток невиданные игрушки, зверей, птиц.

И теперь я хочу сказать, может быть, самое главное, что даже сейчас тоже берedit мне душу, но по другому поводу.

***Как же нам не везёт с властью! С её подлостью, обманами, враньём! Сейчас это существует – а раньше ещё хуже было!***

Речь идёт о следующем. Я уже упоминал, что в городе перед фашистской оккупацией наши безжалостно оставили в госпиталях на растерзание немцам более двух тысяч тяжелораненых красноармейцев. Официальная советская пропаганда не отрицала этот факт, но объясняла всё это спешкой отступления.

Какая там спешка, если в городе было безвластие более недели (а некоторые источники называют цифру – две недели!).

Тяжелораненых, измученных красноармейцев, отдававших Родине свою жизнь, просто кинули! Я и до этого знал и слышал от людей всю правду об этой трагедии, но, изучая всё это, «раскопал» следующий важный документ. Привожу его вкратце:

***«Заместителю председателя Совнаркома Р. С. Землячке. 2 июня 1943 года.***

***Тов. Землячка Р. С.! Обращаясь к Вам с настоящим письмом, я делаю одну из последних попыток правильно осветить и добиться разрешения вопроса, волнующего людей на Минеральных Водах. Вам, наверное, неизвестна Кисловодская эпопея эвакуации города в августе 1942 года. В городе на произвол судьбы были брошены более 2 тысяч тяжелораненых бойцов и командиров Красной Армии. Простые люди, врачи, медсёстры, санитарки оказывали этим раненым медицинскую помощь, вплоть до сложных операций, кормили их, поступаясь последним куском хлеба в их пользу. Спасали их от Гестапо, прятали на своих квартирах. Люди делали всё, что могли, чтобы спасти их жизнь, выполняя свой долг перед Родиной и её защитниками (скрывали их, прятали партийные документы, ордена и т. д.). Всё это я довольно подробно осветил в докладе, который послал в Москву председателю ЦК РОККа в феврале с. г. и копии в местные, городские и краевые советские и партийные организации. К глубокому сожалению, до сего времени мы ответа или какой-либо оценки, несмотря на то, что прошло уже 5 месяцев, не имеем. Наоборот, разговор об этом здесь, в Кисловодске, среди «власть имущих» считается «неприличным». Я и многие мои товарищи находимся под злейшим остракизмом, ощущаем настороженно-подозрительное отношение и пренебрежение. Власть, которая должна нести ответственность за свою трусость, неумение в нужный момент сохранить присутствие духа и организовать эвакуацию раненых, старается, чтобы народ забыл, как тысячи раненых беспомощных наших защитников умирали, будучи брошенными без надзора и ухода. Мне было запрещено писать об этом дальше без разрешения Городского комитета ВКП (б). Я считаю, что наше правительство должно иметь суждение о передаваемых мною фактах, наказав виновных и наградив достойных, после беспристрастного и тщательного расследования.***

***Ст. судебный психиатр г. Ленинграда академик Гонтарев Б. Р.»***

Что тут скажешь? Ответ ищите сами, уважаемые читатели.

## **Глава 5**

## Беда

*Нас увозил слепой вагон.  
А что там, где со всех сторон? Клочку небес мы были рады.  
«Так захлебнитесь кровью, вражды морды!» — орали грозные  
дельцы,  
антисоветские спецы ежово-берьевской породы.  
Михаил Люгарин. Норильский мемориал (выпуск 2-й)*

В Кисловодске только и говорили на работе, дома, судачили на базаре о недавней высылке из города всех карачаевцев. Говорили разное, но в основном недоумевали и жалели эту маленькую народность. Но я слышал, как наш новый участковый милиционер Салов, почему-то зачистивший к нам, однажды сказал:

– Правильно поступил товарищ Сталин! Они встречали немцев хлебом с солью и пода-рили коменданту белого коня и бурку! Так им и надо!

Мать пыталась тихо возразить:

– Ну, даже кто-то из них это и сделал, а причём здесь весь народ? На что грузный и неприятный Салов заорал:

– Ты что говоришь, Углова? За такие разговорчики... Смотри мне!

Уже позднее, когда мы стали большими, мать рассказала:

– Салов всё время домогался меня и, кроме этого, требовал тысячу рублей. А где я их найду? Если бы была эта проклятая тысяча – нас бы не выслали. Он мне прямо говорил: есть разнарядка на высылку неблагонадёжных людей после освобождения города. Твой муж попал в плен и числится в этой категории. Ищи деньги – прикрою, если что!

Я не верила ему. Думала – просто вымогает и запугивает меня!

От отца уже два года не было никаких вестей. Как в 42 году получили письмо из Ростовской больницы, где он лежал с сильным обморожением, так и пропал отец! Ростов уже два раза переходил «из рук в руки» и, в конце концов, был освобождён от немцев. Фронт укатился уже за пределы нашей страны – на Запад и мы все ждали нашей победы.

И вдруг в наш маленький домик нагрянула беда!

31-го августа 1944 года я, как обычно, пришёл поздно вечером с матерью с работы. Поужинали, легли спать. Вдруг часа в три ночи раздался громкий, требовательный стук в окна дома (два окошка выходили прямо на улицу). В дом ворвались двое в штатском, грубо растолкали и подняли нас. Перепуганная насмерть мать плакала, кричала:

– Кто вы? В чём дело? Куда нас поведёте? За что? Почему? Что я сделала плохого? Дайте документ!

В ответ рычали:

– Документ тебе сейчас будет по башке! Ещё слово – прибьём! Собирайся быстрее, сука! Бери, сколько унесёшь! Бери самое ценное и тёплые вещи. Вас высылают в Сибирь!

Мать, а вместе с ней и мы, ещё больше заплакали-заголосили:

– Что я плохого сделала для власти? Работала, как проклятая, в госпитале – лечила раненых бойцов! А малые дети что сделали? Они же ещё ничего не понимают!

НКВД-эшники заорали:

– Молчать, сказали тебе! А то и твоих щенков задушим! Тварь, быстрее шевелись!

Мать, плача, собрала в простыни три узла. Мы, всхлипывая, вышли, подталкиваемые злыми дядьками, на улицу. Дверь в наш дом один из непрошенных гостей опечатал. Нам и в голову не приходило, что мы покидаем родной угол на целых одиннадцать лет!

Ниже нашего дома – метрах в пятидесяти, стола полуторка, в кузове которой сидели четверо женщин с детьми. Нас погрузили, машина тронулась. По пути заехали ещё к некоторым нашим соседям, которые уже стояли на улице. Нестеровы, Невские, Исахановы, Жигульские: еле всех погрузили, затолкали в перегруженный кузов. Кроме шофёра в кабине сидел конвоир и ещё двое стояли на подножках кабины.

Подъехали к товарной станции. Уже начало светать, и конвоиры торопились, гнали к вагонам, толкая и пиная всех подряд. Вагоны были грузовые, с зарешеченными двумя маленьким оконцами в самом верху. Шум, гвалт, плач, крики. Некоторые женщины падали в обморок. Наша мать глухо рыдала, тоже падала в обморок, опять вставала – её, с негнувшейся ногой, подняли и затолкали одну из последних.

В вагоне по периметру три яруса полки из грубых, неотёсанных досок. В самом углу туалет – прорубленное в полу вагона круглое отверстие с решёткой внизу. Все места были уже заняты и нам пришлось разместиться на полу рядом с дыркой-туалетом. Это было ужасно, но «оценить» такое соседство нам пришлось только позднее. Мать всегда считала себя «несчастливкой» и это, действительно, подтверждалось тысячи раз в её жизни.

Поезд тронулся «в светлую даль». Только на третий день мы выехали из Минвод, когда полностью сформировался состав из сорока вагонов, так как к нам всё время цепляли вагоны в Ессентуках, Пятигорске, Минводах. Мы ехали в семнадцатом вагоне. Состав тянули два паровоза. В каждом вагоне находилось от тридцати до сорока семей. В основном было в семьях два-три человека, но были и одиночки. Состав двигался очень медленно, иногда мы стояли по нескольку дней на полустанках или больших станциях, пропуская воинские эшелоны. Несмотря на медленное продвижение, в поезде чувствовалась твёрдая дисциплина. Сотнями кричащих, растерянных, плачущих женщин и детей руководили суровые бдительные конвойные (по два на вагон).

Люди в нашем вагоне все перезнакомились, порассказали все свои истории, некоторые даже подружились. Худая крыша вагона над головой не спасала от дождей, но это пришлось ощутить только позднее, когда мы были уже за Уралом. На пустырях или маленьких полустанках нам разрешали выйти из вагонов прогуляться, сходить в туалет, попить воды из водокачки. Всё это под присмотром надзирателей, но всё равно некоторые молодые одиночные мужчины и женщины сбегали. После таких побегов репрессии усиливались и нас практически перестали выпускать.

Один раз в день с грохотом открывалась тяжёлая катучая дверь вагона и раздавался крик:  
– Два мешка и два ведра!

Староста вагона с одним помощником выпрыгивали из вагона и вскоре возвращались с двумя ведрами горохового супа и мешками с тяжёлым пахучим чёрным хлебом. Некоторые люди – побогаче, кто захватил больше дорогих вещей или золотых украшений, выменивали их на больших станциях на дополнительное продовольствие. У матери тоже было несколько золотых и серебряных вещиц, но она, как бы чувствуя впереди худшее, берегла их. И это спасло нам жизнь в первые два самых тяжёлых года в Сибири!

Поезд тянул нас в неизвестное уже более месяца. Начались дожди, да и около туалета была постоянная сырость от прибитого к полу вагона бака с водой и привинченной на цепи алюминиевой кружки. Бельё у нас плесневело, воняло, гнило от сырости. Мы мёрзли по ночам, голодали, т. к. одноразовое питание было недостаточным. Осенние дожди через щели досок

заливали холодными струями, а снизу через проклятую уборную тянуло сквозняком. Начались болезни, а затем и смерть наиболее слабых и немощных стариков и детей. В нашем вагоне тоже умерло несколько человек.

Люди изнемогали, стонали, кричали, стучали в двери вагонов:

– Изверги! Куда вы нас везёте? Когда закончится этот ад? Сволочи!

В ответ конвойные орали матом, угрожали, стучали прикладами винтовок в стены вагона и даже стреляли в воздух.

Из всех детских впечатлений, пожалуй, самое значительное для меня было – сходить в уборную. Если взрослые это делали вечерами и ночами (представляете, какие звуки были рядом с нами?), то дети не умели терпеть и делали это и днём. На второй полке напротив нас находилась Стэлка Невская с сестрой Милкой и матерью. Стэлка была курчавенькая, симпатичная, миловидная девчонка и я постоянно наблюдал за ней. Она мне очень нравилась, и мы переглядывались с ней. Как можно было на её глазах сходить в туалет? Я плакал, настаивал, чтобы мать закрыла меня чем-нибудь от всех. Она же ругалась, даже шлёпала меня, но в конце уступала, натягивала простынь вокруг очка и я радовался, что Стэлка не видит моего позора.

На остановках мать приносила кипятку, несколько лепёшек, сахарин и мы пили морковный чай. Иногда, при долгих стоянках, около вагонов разводили костры и пекли картошку, которую просили или выменивали на что-то у сибиряков. Конвоиры на крышах вагона между трубами натянули верёвки и разрешили сушить бельё в хорошую погоду. Мы с Шуркой тоже, когда дошла очередь, залезли на крышу и высушили подушки, одеяло, простыни, одежду.

Наконец, наши мучения закончились, поезд тряхнуло последний раз, по вагонам пронеслось:

– Новосибирск!

Но мы стояли ещё трое суток на путях. Наконец подъехали подводы, всех погрузили и через некоторое время мы подъехали к огромной реке.

– Обь! – всполошились, заговорили люди.

– Вот куда нас привезли! Господи – это же край земли!

Но, оказывается, это ещё не был конец нашего злосчастного путешествия! Нас погрузили на баржу в трюм. Темно (одна-две семилинейные лампы на весь трюм), сыро, грязно. Нас уже не кормили, и на барже от истощения и постоянного стресса умерло ещё пять человек. По очереди разрешали на несколько минут выходить наверх подышать свежим воздухом, т.к. в трюме стоял смрад и тяжёлый запах от невымытых тел.

Огромная, широкая Обь поразила меня. Я знал только малюсенькую речку Белую, которая не шла ни в какое сравнение с этой исполинской рекой. Мы тихо плыли по течению, а кругом была вода, и было страшно. Я всё время теребил мать:

– Мам, не утонем ли мы? Помнишь, на Белой речке мы строили запруды, возясь по колено в грязи? А здесь как строить запруды?

Мать не обращала внимания на мои глупые вопросы.

Через два дня баржа пристала к левому берегу Оби. Это был посёлок Почта. Здесь часть людей выгрузили, и мы попали в их число. Остальные поплыли на барже дальше.

На берегу уже стояли десятка два подвод, запряженных быками. Погрузили скарб, детей и немощных стариков на подводы и поехали куда-то по узкой лесной дороге. Десятка три-четыре людей покорно следовали за подводами в сопровождении трёх красноармейцев на конях. Дорога была ужасная. Мы две недели тянулись вглубь тайги. Стоял октябрь, колея раскисла от дождей, телеги застревали. Бедных быков безжалостно хлестали кнутами сердитые женщины-сибирячки, управлявшие обозом. Ругань, мат, свист кнутов по спинам вымо-

тавшихся быков. Когда очередная повозка заваливалась по самое днище в грязи, сибирячки кричали:

– А ну, вражьи морды, ломайте кустарник! Бросайте под колёса! Мать вашу так! У вас, что? Руки не туда приделаны? Интеллигенты вонючие – городские бл... и! Кто так делает?

Мать шла пешком все эти 150—200 километров, которые мы проехали за эти две недели на подводах. Отчётливо помню, как мы с Шуркой плакали, когда подводы опережали идущих пешком взрослых, и хромящая мать скрывалась за поворотом дороги. Мы думали, что она нас уже не догонит.

С нами на одной подводе ехала Щербинская Мария Леонидовна – беспомощная, ничего не умеющая делать женщина, но, как оказалось, прекрасный врач и медсестра, спасающая впоследствии не одну жизнь. Однажды хватились – нет её на подводе. Оказывается, она задремала, бричку сильно трянуло и она слетела с подводы, а тут крутой поворот дороги. Мы в этот раз ехали последними. Конные бойцы нашли её, запеленатую в одеяло. Лежит в канаве молча, как кукла. Тихо плачет:

– Оставьте меня, родненькие, здесь умирать! Я вас прошу – уезжайте! Для чего мне теперь такая жизнь?

Днём, когда пригревало, мы впервые узнали, что такое комары и мошка. Все от укусов гнуса распухли. Сибирячки смеялись над нами:

– Наши комарики покусают вам яйки! Ничего, враги народа, привыкнете! Отвыкайте от сладкой жизни на вашем Кавказе.

Ночью мы ночевали в копнах сена где-нибудь на полянах рядом с дорогой. А надо признать, что там не было сплошной тайги – всё время чередовались болота, перелески, поля. Ночевать в стогах сена было ново и прекрасно. Пахучее сено нам нравилось. Но утром будили рано. Сено опять складывали в стога и копны. Раз в день мы останавливались, готовили что-нибудь на кострах. Воду пили из болот, придорожных канав, грязную, с зелёной тиной. Практически у всех началось расстройство желудка и это ещё более замедляло движение. За две недели ещё умерло от кровавого поноса несколько стариков и детей. Хоронили их рядом с дорогой в могилах, наполненных водой – без гробов, завёрнутых в простыни.

Лес нам с Шуркой очень нравился – багряный, золотистый, местами ещё зелёный. Я всё расспрашивал нашу возницу – сибирячку, которая к концу нашего пути становилась всё добрее к нам:

– Тётъ! А медведи есть здесь?

– О-о-о! Чего-чего, а этого добра здесь хватает! Сколько их шастает по тайге! Мужики все на войне – они и расплодились. Летом боимся ходить в лес по малину – задерут, как пить дать! Но сейчас они уже ложатся в берлогу – не злые, жиру за лето нагуляли.

После этих разговоров я боялся отходить далеко на стоянках, и всё время оглядывался с подводы – а вдруг мелькнёт медведь?

Наконец, лес немного расступился, впереди показалась красивая речка, вся в излучинах, то узкая, то широкая. По берегам зелёный, жёлтый тростник и камыш. По обе стороны реки стоят необычные чёрные, деревянные хаты. Деревня называлась Лёнзавод, а речка – Шегарка, как объяснили сибирячки, останавливая подводы у самого большого дома на берегу.

Через некоторое время собралось несколько местных жителей – женщин, стариков, детей. Кучкуются, тихо разговаривают, смотрят неприветливо на нас, кого-то ждут. Подошёл низкорослый, плюгавенький мужичок в шапке, фуфайке, на ногах валенки с галошами. Заикаясь, представился, растягивая сильно слова:

– Пинчуков моя фамилия. Директор Лёнзавода. Пять семей, которые на первых подводах, располагайтесь в конторе! Остальные – айда во Вдовино!

Переглянулись, перемигнулись бабы на такого директора, даже впервые заулыбались, хоть устали все смертельно. Зашевелились, начали сгружаться (в том числе и мы), остальные поехали в какое-то Вдовино, которое находилось, как выяснилось, в трёх километрах от Лён-завода. В пустые четыре комнаты без стола, стульев, скамеек и кроватей, зашли Казарезова Мария – красивая женщина лет тридцати с двумя детьми Вовкой и Веркой (наших лет), Спирина Надя с дочкой Клавой 13—14 лет, Шереметьева Надя с дочкой Светой 3-х лет и Киселёва Люба с двумя девочками чуть постарше меня. Проходные комнаты были без дверей, маленькие окна с разбитыми стёклами, деревянные некрашенные полы. Посредине стоит большая русская печь, рядом под потолком полати. Стены из круглых черных брёвен, сквозь которые проглядывает мох – не оштукатурены и не белены. Вот таким было наше жилище! В комнатах холодно, неуютно, на полу кучи мусора.

Помогавшие вносить вещи местные бабы рассказали, что на этой печи у одной ссыльной только что умер последний – третий ребёнок, а сама она сошла с ума и её куда-то увезли.

Заплакали, заголосили, запричитали бабы, а заодно с ними и мы. Зашёл Пинчуков:

– В рёбра мать! Хватит реветь! Слезами горю не поможешь! Надо жить!

Заорал на своих:

– Пошли вон по домам! Лучше принесите им что-нибудь пожрать! Затем начал покривать, успокаивать наших:

– Заткните дыры на окнах чем-нибудь, подметите и помойте полы. Взрослых детей пошлите за хворостом в соседний лесок: вон он – в пятидесяти метрах! Да и за избой есть немного колотых дров. Распустили нюни! Молодые бабы! Не стыдно?

И это подействовало! Все засуетились, успокоились, начали работать. Через некоторое время избу было не узнать. Чистые полы, щели окон заткнуты тряпьём и даже висят занавески, весело потрескивает огонь в печке. Во всех комнатах разложили на полу кое-какие лохмоты. Мы заняли самую большую комнату со Спириными. Сибирячки вернулись, принесли вареной картошки, немного чёрного хлеба, обрату в кринках, устюков (шелуха с крупой), брюкву и турнепсу. Последние два плода похожи на сахарную свёклу и репу. Поужинали, долго говорили при свете печи и делая по совету сибирячек лучины из поленьев. Нам, детям, всё было интересно. Столько впечатлений! Необыкновенная еда (особенно понравилась сладкая брюква), необычные люди с интересным говорком, чудная печь с открытым огнём. Потрескивающие сухие лучины, блики огня на потолках, разговоры, вздохи женщин. Нас всех разморило – мы притихли, глядя заворожено на огонь.

Помня умерших детей на печи, я не полез ночевать на неё и на полати, как все дети, а уснул на полу около матери рядом с давно спящим Шуркой.

## **Глава 6**

## Мучения

*Там смерть бродила без косы. Любя воздя, пред ним дрожали.  
Сам чёрт точил ему усы,  
Чтоб жертву новую ужалить.  
Норильский мемориал. Август 1991 г. Памяти поэта Бориса  
Ручьёва.*

Итак, наше ужасное «путешествие» – перемещение в Сибирь закончилось.

Шли последние числа октября 1945-го года.

А «поутру они проснулись...» в холодной избе в глухой сибирской тайге – пять несчастных, ни в чём не повинных русских женщин с малолетними детьми. Проснулись от пронизывающего холода. Все выбежали во двор. Кругом белым-бело! Ночью выпал глубокий снег. Ребяшня кинулась к снегу – интересно, необычно. А бабам горе: нечем затопить печь – все дрова сожгли вчера. Из соседней хаты сибирячки дали пилу и топор. Все пошли в лес (в том числе и дети) – он рядом. Никто не умеет пилить – всё время пилу зажимает, вихляется она; того и гляди, не дай Бог, сломается. Ведь сибирячки прибьют, так как это там была большая ценность. Да и топором тоже уметь махать надо. Переругиваются бабы, плачут, а нам весело. Столько всего нового, лес какой, пухлый снег, носимся, падаем. Помогаем носить дрова в избу.

Затем с Шуркой побежали к реке с ведром за водой. Вода чёрная, тихое течение, пар от воды. Берега в снегу, со дна тянутся водоросли и колышутся по течению. Наклонились – плюём в воду, увидели небольших рыбок в глубине. Разговариваем тихо, боясь их вспугнуть. От избы закричала мать:

– Колька! Шурка! Где вы, черти! Сколько можно ждать? Скоро вы воды принесёте?

Очнулись, зачерпнул Сашка ведро воды, оглядываясь, пошли назад.

Неизгладимо первое впечатление от Шегарки! Осталось на всю жизнь память о милой моему сердцу речке, где прошло моё детство! Шегарка, Шегарка – как я благодарен тебе, что ты была всегда с нами! Ты скрасила нам детские годы, ты вошла в нашу душу до конца дней! Воспоминания о тебе жгут и мучают меня и сейчас, заставляют сильнее стучать моё сердце, дрожит голос и выступают слёзы – я люблю тебя, Шегарка!

Через два дня наведалься Пинчуков.

– Ну что, бабы? Передохнули? Постирались? Пора и за дело! Ведь не на курорт вас привезли к нам. Завтра все на лён! Лодырей не люблю! Детей, кто постарше, отвезём в школу во Вдовино. Это в первый раз. А дальше, пусть сами ходят – рядом, всего-то три километра. Малыши пусть дома сидят, но на первый раз можете взять их с собой на лён.

И началась наша сибирская жизнь! Взрослые целыми днями дёргали лён в поле. Много его надо было в то время для Красной армии, он шёл на изготовление белья, гимнастёрки, галифе, шинелей, верёвок и канатов. Лён стоит высокий, чистый, звенит шариками – бубенцами на ветру. С треском выдирают пучками его из снега бабы, вяжут в снопы, а снопы составляют в суслу. Возьмёшь головки льна, разотрёшь в ладошках, продуешь, просеешь, пересыпая из руки в руку, кинешь в рот – нормально! Не мак, но есть можно. Лён стоит стеной рядом с посёлком. Дальний-то, говорят, убрали весь и вывезли на ток.

По жёсткой разнарядке все поля, все свободные клочки земли засевали только льном. Немного для себя засевали лишь часть пахоты рожью и горохом.

Удивительное растение лён! Мне он сразу понравился, а когда впоследствии увидел его цветущим – это было что-то! Я пытался помогать матери выполнять её задание – за этим строго следил бригадир. Сразу устал. Тяжело тянуть из снега пучок, да и пальцы быстро замерзают, а вскоре, к тому же, занозил руки. Никаких рукавиц, естественно, тогда не выдавали. Бабы

одеты, обуты все в основном в летнем – замерзают, стонут, плачут, у всех тоже занозы, а бригадир свирепствует:

– Киселёва, Углова, Казарезова! Какого хрена опять собрались в кучку! Давай работать! Не получите обед! Бездельники! Я вам сегодня трудовень не поставлю!

Как помню, из всех женщин самая бойкая и смелая была Мария Казарезова, позднее сбежавшая из Сибири. Она за словом в карман не лезла:

– Пошёл, сам знаешь, куда! У нас руки с пару сошлись! Дай чуть погреть их! А может, ты меня погреешь, старый хрыч?

Бригадир матюкается, машет рукой:

– А ну вас к чёрту, работнички!

Всем женщинам тяжело с непривычки, холодно-голодно. Попробуй с раннего утра дотемна потягай лён! А он с каждым днём всё хуже и хуже выдёргивается, т. к. подмерзает влажная почва. А места там болотистые, тяжёлые, всё низина – низина, нет привычных для нас гор, песка, гравия. Да что там – камешка не найдёшь нигде, даже по берегам Шегарки!

Вот, наконец, и обед! Привезли в поле на подводе в баке горячую похлёбку, немного хлеба, вареной картошки и брюквы. Разведут костерок, собьются с местными бабами вместе кружком, поедят, отдохнут, погрееются, погорюют, поплачут – и опять за работу.

Мы же с Шуркой и другими детьми любили играть – прятаться в суслах. Заберёшься внутрь, хрумаешь лён – интересно, но быстро вымокаешь в снегу. Мать прогоняет домой, а там тоже холодно. Но мы быстро научились пилить, колоть, заготавливать дрова и сами растапливать печь.

Но с каждым днём становилось всё холоднее, мороз жжёт щёки. Много на улице не поиграешь, одеться, обуться не во что, и всё чаще оставались в избе на целый день. А тут голод стал мучить ежедневно. Ждёшь – не дождёшься родителей с поля. Принесут льна, немного сырой картошки, выделенной Пинчуковым за работу, вместе с котлом в придачу. Все пять семей начинают варить картошку в котле, а потом в этом же котле кисель изо льна и калины. Печь большая, гудит, становится всем веселее.

Всё реже и реже мы с Шуркой выбегаем на мостик через Шегарку покачаться на гибких досках – всё холоднее и холоднее становилось. И вот уже река остановилась – сплошной лёд, который не пробивается комьями грязи, которые мы кидаем. Начали кататься, лёд прогибается и потрескивает, а я не боюсь и стараюсь выехать на середину омута.

– Смотри, провалишься! Лёд ещё тонкий! – кричит Клавка Спирина.

И правда, как-то раз, не успев выехать на середину, мгновенно очутился в ледяной воде. От неожиданности оторопел, испугался, но каким-то чудом ухватился за вмёрзшую в лёд ветку ракиты. Ору что есть силы. Ребяшня вся сгрудилась, мешают друг другу, а течение прямо тянет меня под лёд. Никогда не думал, что на вид спокойная Шегарка имеет такую силу! Из последних сил держусь. Клавка прибежала с жердён (как догадалась?) и вытащил аменя.

Мать вечером узнала, кричит:

– Сволочи проклятые! Вы что – утонуть хотите? Все дети, как дети, а вы какие-то ненормальные. Это всё ты, Колька, заводила! Если ещё раз выскочите на лёд – узнаю, излуплю, как собак!

Теперь мы в комнате весь день, у каждого свой угол, но есть и общая территория. Все подружились. Трое мальчиков и четверо девчонок, а всеми верховодит пятая, старше всех нас значительно – Клавка Спирина. Она, как и Шурка, походила, походила в школу во Вдовино и бросила. Сидит с нами в избе целый день, покрикивает на всех, разнимает драчунов. Голос у неё грубый, да и лицо, как у мальчишек! Весь день в избе шум, гвалт, возня, драки, слёзы и одновременно смех, веселье. Но чем дальше, чем холоднее, голоднее становилось, тем тише в избе.

Первое время по утрам мать силком одевала, снаряжала Шурку в школу, но он упирался, не хотел, плачет – сопли распустил:

– Не пойду, не буду там учиться! Меня обзывают врагом, смеются надо мною, издеваются!

Все происшедшие с нами ужасные события надломили его. Всех он боится, переживает, замкнулся в себе. И без того робкий по натуре, Шурка окончательно был сломлен жестокой действительностью. А когда зима ударила во всю, а до школы туда-назад три километра, тут мать поняла, что придётся этот год Шурке пропустить.

Лён весь уже был собран и родители перешли работать на Лёнзавод. Несколько крытых навесов, сараев, складов, молотилка, веялка, крутилка – вот и весь завод. Женщины крутили-молотили лён, вили из пряжи верёвки на сквозняке. Я любил приходить и наблюдать за работой. Вот мать развязывает сноп, кидает его в жерло молотилки. Лён хрустит, пережёвывается, семя льётся ручейком в один бак, а волокно плавно – в другую сторону. Его подхватывают на дальнейшую переработку, а затем из пакли вяют верёвки для фронта.

– Чтобы поганого Гитлера задушили этой верёвкой!

– плачут, голосят голодные, измученные работой на морозе бабы.

А мне и здесь было интересно. Шум локомотива, запах льна, крики – команды механика; солидол, которым смазывали механизмы, и я пытался его есть. Но особенно меня интересовали птицы, собиравшиеся на льняное семя. И в первую очередь, красногрудые снегири. Это были великолепные птички! Не знаю более красивых птиц в России!

Теперь наши матери приходили на обед к нам домой. Чаще всего варили капустную похлёбку и тыквенную кашу. Начали давать немного хлеба с устюками и на детей.

Клавка Спирина растопит языком кружок на стекле, дует постоянно на лёд, торчит долго у окна, смотрит на дорогу во Вдовино. Наконец запрыгает, заорёт:

– Ракшиха хлеб везёт! Хлеб везут, хлеб везут, хлеб везут!

Все загалдели, лезем к окну, толкаемся. Это Нюська Ракша везёт на быках из Вдовинской пекарни хлеб. Все люди с посёлка собираются к конторе. Прямо с саней Ракшиха по списку начинает развешивать чёрный, липкий, тяжёлый, но страшно вкусный хлеб. Вонзит крючок безмена (весы) в булку, отрежет, сколько надо, или добавит. Всё это на руках, на весу, под жадными взглядами голодных ребятишек. Кричит:

– Готово! Забирай, Скворцова! Следующая по списку Шереметьева. Ну-ка, сколько тебе причитается? Так! Получай!

Воду носили из Шегарки – из проруби, которая ежедневно заносилась снегом и промерзала за ночь. Приходилось утром идти с лопатой и ломом. Принесут со льдом ведро воды, а в воде козявки быстро бегают, ныряют. Процедят через сито воду, прыгают в сите чёрненькие кузнечики-летуны, мы их долго рассматриваем, играемся с ними. Первое время заболели все животами, вода не нравилась, а сибиряки смеются:

– Всю жизнь пьём воду из Шегарки – не помираем, и вы привыкните! Теперь вы к нам навечно – свыкайтесь!

Эти последние слова просто убивали нас:

– «Неужели эта каторга навечно? Как можно привыкнуть к такой жизни? Кисловодск – милый нам сердцу город! Свидимся ли?»

Еды не хватало, мы были постоянно голодные и мать постепенно выменяла перину и подушки за картошку, капусту, брюкву и тыкву у бухгалтера завода. Я начал ходить по дворам, вспомнив госпиталь в Кисловодске. Голод сжигал желудок и надо было что-то делать. Я помогал Нюрке Безденежной, Горчаковым, Ракшихе и другим сибирякам по дому – чистил картошку, подметал полы, приносил воды, пел песни.

– Колюшок! Спой что-нибудь!

– просили, перемигиваясь, соседи. Я всегда начинал тоскливо с «Арестанта», а затем:

*В краю чужом, мне снится дом. И наша вишня под окном. Скажи,  
сыннок, поведай мне  
О том, как жил ты в стороне. О чём мечтал в чужом краю, и кто  
тебя берёт в бою?  
Я, мама, былв таком огне, что опалил он сердце мне.  
Он жжёт в груди, но ты прости, мне слов об этом не найти.*

Мои песни, видел, всегда нравились людям и меня постоянно просили:  
– Ну, ещё давай, спой. Больно уж хороши песни. Не помнишь больше?  
Так давай опять про котёнка или про убитого офицера под дубом. А «Корбино» – так вообще здорово!

На что я гордо заявлял:

– А вот новая песня! Правда, не до конца выучил.

*Из далёко — Колымского края, где кончается Дальний Восток. Я  
живу без нужды и без горя — Строю новый стране городок!*

Сибирячки меня кормили, давали с собой варёных бобов, печёной брюквы, жареной конопля, пирожки. Всё это богатство я нёс домой – матери и Шурке, который теперь целыми днями лежал на печи и голодал. Своими походами я очень гордился и нередко при ссорах попрекал Шурку.

Наступил февраль с его бесконечными заунывными злыми метелями. Это было просто страшно – мы таких холодов и метелей никогда не видели. Русская большая печь постоянно топилась и обогревала четыре комнаты, но к утру из избы всё выдувало. Было холодно, двери входные обмёрзли, на тусклых маленьких оконцах толстенный слой льда. В комнатах всегда полумрак, а при открывании двери врывались клубы холодного пара. Дров не хватало. Женщины не успевали просить двух-трёх старых мужиков привезти на быках из лесу берёзовых дров и те ворчали, что мы быстро жжём их. Дети все трудились – помогали пилить, колоть, носить дрова, выносить золу, с речки носить воду, убирать в комнатах. Особенно противно было бегать на улицу в холодный камышовый туалет, стоящий метрах в тридцати от конторы. По ночам каждая семья в своём углу имела для этих целей своё ведро.

С первых же дней нас стали донимать вши. Всё свободное время мы «искались». Это слово я запомнил на всю жизнь. По очереди ковырялись – искали в головах друг друга и одежде, уничтожая гирлянды гнид и убивая вшей. До сих пор отчётливо слышится этот специфический хруст и постоянная кровь, грязь на ногтях двух больших пальцев на обеих руках. Помню однажды: пришла поздно вечером с работы Казарезова Мария и прямо с порога закричала:

– Сил нет! Не могу больше – заели вши проклятые! Кровопийцы чёртовы!

Подскочила к гудящей печке, не стесняясь никого, скинула одежду, осталась в одних трусах. Сняла последнюю нижнюю рубашку и поднесла к огню поближе, чтобы лучше видеть – «поискаться». Растянула на растопыренных пальцах её – и тут как тёмная волна прошла по белой рубашке. Изо всех щелей, складок, узлов от жары бросились тучи крупных, как зёрна риса, вшей. Вскрикнула от испуга и неожиданности Мария и, не отдавая себе отчёта, что делает, брезгливо бросила свою единственную исподнюю рубашку в огонь топки и сразу заплакала, заголосила.

Наконец, нас всех собрали и повезли на санях во Вдовинскую баню. Мылись все в тёплой воде с чёрным мылом, а бельё всё где-то прожаривалось от вшей. Было жарко, волны горячего пара вверху скрывали наполовину всех, лиц не видно. Женщины впервые были счастливы, шумели, шутили, плескались и смеялись.

Я был ошеломлён видом голых взрослых женщин, растерянно стоял посредине, рассматривал всех и открывал для себя что-то новое. Вдруг какая-то баба наклонилась ко мне, потрепала пальчиком мой возбуждённый петушок и весело захохотала:

– Смотрите, девки, это же надо? Тоже мне мужчинка! Вот это да! Ах, ты, гавнюшок маленький!

Все грохнули, захохотали, мать влепила затрещину, мне стало стыдно, и я убежал в предбанник.

Долгими зимними вечерами, когда выла пурга в трубе, мы лежали на тёплой печке все вместе, и Клавка что-нибудь рассказывала страшное, пугая нас ведьмами и чертями:

– Слышите, как ведьма воеет в трубе? Тише, тише! Слышите? Кто-то шуршит за печкой! Это домовый! Он лежит за печкой (там его дом) и слушает, что мы говорим.

И правда! За печкой был длинный узкий чёрный канал, который был неизвестно для чего. Мы от страха затыкали его старой одеждой или тряпками, но всё равно там постоянно кто-то шуршал.

Позднее мы узнали, что во всех избах сибиряков есть такой канал за печкой. Люди и впрямь верили, что там живёт домовый и каждый раз перед едой, помолвившись, ему первому бросали кусок хлеба. Но, став взрослым, я понял, что шебуршали за печкой, вероятнее всего, мыши.

Клавка Спирина была развязной четырнадцатилетней девчонкой с грубым мужским голосом. Хорошо помню, как её руки без стыда шарили по всему телу, когда мы лежали рядом, да и меня она подталкивала к этому.

Наконец, эта долгая злющая зима всё же подошла к концу. Зазвенела капель, стало вдруг тепло, снег просел, почернел, а затем начал так быстро таять, что в одну ночь всё кругом затопило, и из дому опять нельзя было выйти.

Люди говорили, что на фронте наши наступают. Все радовались этим вестям, а также теплу, весне, солнцу.

Чуть сошла вода и всех оставшихся мужиков и здоровых женщин, в том числе и наших, собрали, дали лопаты и повезли в соседние два села – Хохловку и Алесеевку. Там за зиму умерло много ссыльных, и их перезахоронили на кладбище на стыке сёл. Приехали только поздно вечером. Все заплаканные, расстроженные. Мать рассказывает нам:

– Ой, дети! Сколько видела в Кисловодске мёртвых: ежедневно десятки умерших красноармейцев было в госпитале, но чтобы столько здесь было покойников – это ужас! Больше трёхсот человек стаскали, схоронили в общей яме! Уже после нас по разнарядке привезли туда самую большую партию людей, а размещать негде. Выгрузили в три огромных амбара, которые освободились после сдачи ржи государству. В них нет печей, холодно, а уже полуметровый снег и морозы. Комендантом у них, говорят, был самый свирепый из них в округе – некто по фамилии Гонда. Он даже не дал им пил и топоров, и они стали помирать от холода. Сколько их умерло за зиму! Снег двухметровый, земля промёрзла – кто докопается? Вот их и свозили на кладбище, чуть присыпали снегом и вот только сейчас, когда земля оттаяла, схоронили. Ребята! Это был ад! Яму огромную рыли человек сто почти до вечера. Другие подтаскивали мертвяков. Трупы полуразложились, вонь, смрад, все блюют, а таскать надо! Соорудили волокуши из кустарника и тягаем бедных – еле управились до вечера. А засыпать могилу будут завтра все местные. Сами, говорят, управимся. Господи! Как бы нам не помереть в этой проклятой Сибири!

Как мать была права! Знала бы она, что основные испытания у нас впереди!

## **Глава 7**

## Страдания

*В стране, рождённой в Октябре, стал богом Сталин. Мы спохватились лишь сейчас, как годы эти жили-были. Чем больше презирал он нас, тем больше мы его хвалили.*

*Норильский мемориал. 1991 г.*

Наконец, одержана великая победа в войне с немцами!

Три дня все деревни гуляли – даже разрешили открыто гнать и продавать самогон! На улицах заиграли гармони, как говорили, впервые за все годы войны. А играли в основном женщины, да старики. Люди бесшабашно веселились, обнимались, целовались и все ждали в свои дома уцелевших освободителей. Мы тоже ждали и надеялись, что теперь-то справедливость восторжествует, и нас тоже освободят. Откуда нам было знать, что пока жив Сталин, это никогда не наступит! А имя вождя советского народа я уже не раз слышал и запомнил.

Наступила весна. Яркое солнце быстро съело снег на полях, но в лесу его ещё было много. Мама и Надя Спирина с Клавкой начали ходить на колхозные поля – выбивать мёрзлую картошку. Жёлтые, бледные, трясущиеся, и мы с Шуркой начали выползать из телятника. По очереди пользовались одними рваными галошами и тоже ходили добывать картошку. Идём, еле волоча ноги, по вязкому полю. Издали увидел один бочок картошки – бежишь к ней. А картошка, надо признать, прямо выталкивается из чернозёма и манит крахмальным бочком. Рассыпчатая! Обжуёшь крахмал и в сумку её! Телятница дала нам сковородку, и мать жарила теперь на ней оладьи из мёрзлой картошки. А потом выросла первая трава. Мы жадно поедали суп из лебеды и крапивы, который готовили нам на костре рядом с телятником мама и Надя Спирина. Иногда в суп добавляли жмых, отруби или мёрзлую картошку, которую добывали на поле или воровали у телят. Мама у кого – то выпросила ножницы и остригла нас наголо, а также остригла ногти на руках и ногах, которые уже закручивались как когти. Становилось всё теплее и теплее и мы, наконец, скинули многочисленные лохмотья, которые, как мы поняли, мать и Спирина сдирали с мёртвых замёрзших китайцев. А тут и вода в пруду стала теплой, и мы вволю намылись – накупались. Только вместо мыла у нас была жёсткая трава и жирная глина, но тело отмылось хорошо от многомесячной грязи.

В мае 45-го нас перевезли в деревню Носково. Это поселение было значительно больше, чем Лёнзавод. Располагалась оно по обоим берегам знакомой реки Шегарки, в восьми километрах от Вдовино. Нас опять, все пять семей, разместили в правлении колхоза в большом бараке, а правление переехало в Лёнзавод. Нам выделили пять соток вязкой, болотистой целины, которую мы единственной лопатой начали с трудом переворачивать, копать. Это был невероятно тяжёлый труд! Продав последние золотые и серебряные безделушки, мать купила мелкой семенной картошки и мы кое-как посадили её в перевёрнутые пласты целины.

Мать пошла в контору и кинулась в ноги Калякину: – Леонтьевич! Дай нам с детьми какую-нибудь работу! Может быть, заработаем на трудодни что-нибудь на пропитание и обувь, одежду. Голодные сидим, нет обуви, а вместо одежды – лохмоты!

Калякин был в хорошем расположении духа. Он удивлённо уставился на мать и расхохотался:

– Так вы не подошли в эту зиму? А мне сказали... Вот живучие – мать вашу так! Как же это вы уцелели? Вон – все китайцы вымерли, а вы.. А вместо китайцев к нам опять направляют толпы бессарабов, западенцев и прибалтов. Ума не приложу, что с ними делать. Ну да, ладно: лето – осень они проживут, а зимushка наша всех их опять соберёт. Ха – ха – ха!

Председатель колхоза Калякин – крикливый, вздорный мужик, помолчав, всё-таки сжался:

– Ладно, назначаю тебя птичницей. Смотри, Углова! Будешь с детьми яйца воровать или потеряешь хоть одного цыплёнка – выгоню из колхоза и из хаты! Берегите птиц! Не воруйте! Зубами держись за работу!

Мама стала работать на ферме птичницей, а мыс Шуркой ей помогать. Птичник располагался на краю деревни в длинном сарае с маленькими оконцами. Стены и крыша состояли из соломы, набитой между жердями. Несколько сот курей, десятка два петухов и столько же квочек, за которыми приходилось смотреть особенно тщательно, чтобы выросло всё потомство и цыплят не растащили кошки, собаки, коршуны и т. д

Работа нам всем нравилась. Была весна, тепло. Куры весело кричали на все лады; грозно распутив крылья, квохтали наседки, вода жёлтых цыплят. Но трава быстро вымахала в наш рост и трудно было уследить за цыплятами, т. к. они убегали то на речку в тростник, то в лопухи, коноплю и крапиву, росшие рядом с курятником. Раз в неделю нам привозили на быках корм: овсюг, картошку, рожь. Мы кормили курей, чистили навоз, следили за птицами. Особенно тяжело было загонять их на ночь в курятник. и мы постоянно пересчитывали курей и цыплят.

Цыплята всё-таки пропадали. То тонули в речке, то исчезали неизвестно как.

Как-то неожиданно рядом со мной пронёсся вихрь: закудахтали, разлетелись куры. Огромный коршун схватил сразу двух уже довольно крупных цыплят и начал взлетать. Но также стремительно на коршуна налетел большой чёрный петух и ожесточённо дотянулся на взлёте шпорами и сбил его. Тот выронил одного цыплёнка, а со вторым всё же успел подняться из пыли, теряя перья. Цыплёнок остался жив, петух победно заорал, а я, наконец, пришёл в себя и с палкой долго бежал за коршуном до самого леса, не давая ему сесть. Было жалко цыплёнка, я плакал от обиды и на всю жизнь возненавидел ястребов и коршунов, которые питаются беззащитными птичками.

Как-то всё-таки мы попались хитрым тёткам, которые открыли наш секрет супом в чугулке. Заорали, закричали, заматюкались на мать:

– Воры кавказские! Твари бессовестные, мать вашу так!

Схватили чугунок они, убежали с ним. Через некоторое время появился грозный Калякин. Что тут было! Разорался, расклюнявился, замахивается на мать, пинками бьёт нас. Мы все плачем, просим прощения, мать упала в ноги к Калякину, и он чуть отошёл, успокоился.

После этого случая Калякин перевёл мать работать дояркой. Теперь мы ходили на другой конец села пасти коров, а мать с другой дояркой трижды в день доили коров, собирали в вёдра и цедили молоко, мыли фляги, убирали навоз. За молоком приезжал ежедневно мужик на бедарке из Вдовино. Коров было более трёх десятков, и в стаде был огромный бугай, которого мы с Шуркой очень боялись. Он, говорили, забодал до смерти одного пьяного мужика, который ради шутки сунул ему под хвост горячую картофелину.

Стояла середина лета и коров безжалостно донимали крупные, больше пчёл, пауты. От их укусов сочилась кровь из многочисленных ранок на теле бедных животных. А вечерами роились, зудели, кусали тучи комаров и мошки. Где-то к полудню вдруг взбрыкнёт какая-нибудь корова, поднимет хвост, понесётся к реке, а за ней и всё стадо и тогда, берегись! Бегут сломя голову, ломая мелкий лес и кустарник на пути, пока не ухнет всё стадо в Шегарку. Залезут по самые рога в воду – стоят, отдуваются, остывая от гнуса.

В один из таких жарких дней убежали, исчезли бугай с коровой. Мы сбились с ног, но нигде их не нашли. На третий день мать пошла в правление и, плача, рассказала о пропаже. Всех подняли на поиски и нашли «сладкую парочку» в девяти километрах от села в густом лесу. У них, оказывается, была романтическая любовь в прохладе чаши.

Калякин разорался:

– В рёбра мать! Враги народа вы и есть враги! Недотёпы несчастные! Куда ваши глаза смотрели, когда стадо паслось? Углова! Как ты мне на доела со своими выблядками! Всё! В последний раз тебе даю работу. Не справишься, пеняй на себя! Ладно, Углова! Чёрт с тобой! Ещё раз доверю тебе и детям твоим наших свиней. Кормов немного будут подвозить мужики, но, главное, свиней хорошо пасите. Они летом сами найдут, что им есть – траву, коренья. Пасти будете у Замощья, где кончаются покосы. Это в районе Уголков. Главное, чтобы свиньи не травили поля колхозные. А когда уберём брюкву, турнепс, картошку, овёс и рожь —тогда по полям будете пасти.

Мать плакала:

– Спаситель наш! Спасибо большое! Мы оправдаем доверие! Будем стараться!

– Да, Углова! Вот что ещё! Замощье кончается Гиблыми болотами – сколько скота там утонуло в трясине. Смотри, чтобы хрюшки туда не забрели! Детям накажи, чтобы следили за этим! А конюх мой вам покажет выпасы. Давай, завтра с детьми на свинарник!

Окрылённая, мать пришла и рассказала об этом всё нам. Мы повеселели. Свинарник находился рядом. Раз в день привозили корм – отруби, жмых и сыворотку. Теперь мы постоянно жевали жмых—не халва, но вкусно! Мужик привозил сыворотку – ни разу не предложил, подлец, нам попить! Всю её выливает из фляг в длинное корыто. Свиньи набрасываются и выстраиваются вдоль. В корыте мелькают кусочки творога, вкусно пахнет, чушки смачно чавкают, пропуская сыворотку через клыки, и отцеживают творог. Стою, не дождусь, скорей бы уехал скряга-мужик, кидаюсь сразу к корыту, отгоняю хворостиной хрюшек и вылавливаю руками оставшиеся крупные куски творога и пью сыворотку, не брезгуя (где уж – «голод не тетка»! )

И потекли будние дни. Утром чуть свет мама будила нас и мы вместе – трое, выгоняли свиней на выпасы. Ближе к обеду надо было их пригонять к свинарнику, куда колхозник привозил сыворотку или корм – картошку с отрубями. Мы и здесь питались прямо из свиного корыта: пили сыворотку, вылавливали творог и картошку из мешанины. Затем опять выгоняли свиней на выпасы, которые находились в двух-трёх километрах. Все окрестности Вдовино были изрыты их пяточками – они вырывали, видно, сладкие коренья, личинок и червей, а также поедали свежую траву. Но за свиньями надо было всё время следить – они всё время разбредались и норовили вырваться на колхозные поля, которые находились невдалеке. Теперь мы с Шуркой периодически забирались на какую –нибудь берёзку или осинку и оттуда считали свиней: их у нас было шестьдесят. Часа в три дня Шурка бегал в деревню к свинарнику, где убирала навоз мать, и приносил в узелке немудрящий обед на двоих.

И вот как-то в знойный июльский день Шурка убежал за обедом, а я привычно вскарабкался на дерево. Несколько раз я пересчитывал свиней, но одной не хватало. Я всполошился и начал бегать по окрестностям кругами, ища её. Сбегал и на соседнее колхозное поле, но её и там не было. Я заплакал:

– Сволочь! Куда онаделась? Нас же Калякин растерзает!

И вдруг, словно молния пронзила меня:

– «А не убежала ли она на Гиблые болота, которые совсем рядом? Ведь недаром всё стадо сегодня так туда стремилось. День жаркий и им хочется поваляться в грязи».

Побежал в ту сторону и скоро услышал визг. Ноги уже проваливались по щиколотку в грязь, и скоро я увидел своего борова. Так и есть! Это тот – самый шустрый боров с пятном на голове, который больше всех приносил нам хлопот. Он лежал в грязи и верещал. Задние ноги у него, видно, крепко увязли в густой и вязкой трясине, а передние не доставали дна и он всё время барахтался, вереща и теряя силы. Я заметался, не зная, что делать. Попробовал подбежать к нему, но сам чуть не увяз – еле выскочил. И тут меня осенило. Я нашёл не толстый трёхметровый кусок осинового бревна без веток, который лежал недалеко, и приволок его к трясине. Думаю:

– «Брёвнышко, вроде, не гнилое, не трухлявое. Надо поставить комлем его „на попа“ и плюхнуть рядом с головой борова. Только надо так толкнуть, чтобы не задеть голову свиньи и чтобы вершина упала рядом. А потом я подведу её под ноги и голову борова, чтобы до прихода мужиков свинья не утонула. Только скорее бы Шурка прибежал!»

Поднял жердину и сильно толкнул, стараясь, чтобы она упала недалеко от хрюшки. Лесина плюхнулась буквально рядом с головой свиньи, обдав её всю грязью. Но по инерции она проплыла в жидкой трясине на метр-полтора. Я понял, что не дотянусь до неё. Залез по пояс в грязь, изо всех сил затолкал край жерди под свинью. Частично удалось. Мне кажется, что боров понял мои намерения – он опёрся головой и одной ногой на кругляк, перестал тонуть и барахтаться.

Но в борьбе со скользким деревом я и сам погружался всё более в трясину. Ноги намертво засасывало в вязкую грязь, и я не мог ничего сделать. Заплакал, заревел, что есть силы, поняв, что сейчас утону. Голова моя оказалась рядом с головой ненавистного визжащего борова, и от этого мне стало ещё страшней. Ухватился обеими руками за сучки скользкого бревна. Хорошо, что оно было сухим, и не сразу напиться влагой. Руки быстро устали и скользили по гладкому стволу, и я решил поменять положение. Одной рукой поднырнул под кругляк, и пальцы рук сцепил сверху бревна в замок. Стало чуть легче, но силы быстро убывали. Мелькнуло:

– «Неужели это конец? Какую зиму выдержали, а тут так глупо получилось. Из-за какой-то проклятой свиньи погибать?»

Я с яростью плюнул в ненавистную харю борова. Мне показалось, что он с насмешкой смотрел на меня, как бы говоря:

– «Ну, что друг? Вместе утонем? А ведь только недавно ты бил меня хворостиной, а сейчас на равных».

Прошло, наверное, более получаса, как я попал в западню и силы мои были на исходе. С ужасом понял, что минут через пять-десять руки не выдержат, и я утону в трясине. Из последних сил закричал:

– Ш – у – р – к – а – а – а!

Он сразу же откликнулся. Оказывается – был рядом. Увидел наши грязные головы (со свиньёй), торчащие из трясины и затрясся:

– Колька, как же это ты так влетел? Держись брат, держись! Я мигом! Только что проехала бедарка с двумя мужиками на Уголки – я догоню их!

Уже теряя сознание, краем глаза увидел примчавшихся двух мужиков с верёвкой и двумя плахами. Через некоторое время нас со злосчастным боровом вытащили из трясины.

Мать долго после этого случая бранила меня:

– Колька! Вечно ты куда-нибудь влезешь! Прошлый год под лёд на Шегарке чуть не утянуло, сейчас – в трясине. Мало тебе, что чуть не помер с голоду в эту зиму, так ещё и приключения на свою жопу ищешь? Больше не смей бегать на эти Гиблые болота.

Теперь мы пасли свиней с Шуркой по-новому. Всегда находились с ним на расстоянии 50—100 метров друг от друга и обязательно спиной к этому проклятому болоту, не давая свиньям туда даже близко приблизиться.

Сентябрь. Уже убрали хлеб, становилось холоднее, и мы пасли свиней на полях. Они подъедали колоски ржи после уборки. Шурка пошёл в школу, и мне теперь было труднее управляться одному со стадом.

Сел я как-то под большую копну мякины, разложил роскошный обед, который принесла мать в поле мне. В миске горячая толчёная картошка с жареной коноплей и бутылка обрата. Только хотел есть, как что-то сзади зашевелилось и куча мякины засыпала меня с головой. Молоко упало и вылилось, а картошка перемешалась с мякиной. Всё, нет обеда!

Я в бессильной злобе долго гонялся с палкой за огромным боровом.

Свиней пасти – это не коров, гораздо труднее! Всё время они разбредаются, всё норовят куда-нибудь залезть: в хлеба колхозные, в огороды личные, в лес, на реку и т. д. Целый день носишься за ними, некогда нам с Шуркой поиграть, покупаться в реке.

Но мы нашли другое занятие – катание верхом на боровых. Оглянёшься вокруг – нет взрослых, подкрадёшься к крупной свинье, а лучше к борову. Прыгнешь внезапно на спину, схватишь за щетину – ну, теперь держись! Понесёт хряк, подпрыгивая и визжа от досады, взбрыкивает, норовит скинуть. Но я научился здорово ездить не сразу, синяков насажал много. Хохочем с Шуркой, визжим от восторга, пока свинья не брякнется в лужу (а лужи там на каждом шагу, т. к. дожди летом идут практически ежедневно), или понесёт в щель между жердями загона или забора, в кустарник, в лес.

Знойное лето быстро подошло к концу и сменилось дождливой холодной осенью. В качестве аванса за выпас свиней мать выпросила у Калякина (через Райпо) две пары галош. Как не умоляла дать третью пару для меня – всё было бесполезно! В одних галошах ходила мать, в других Шурка опять пошёл в школу. Уже в сентябре убрали все колхозные поля, и я начал там пасти свиней. После уборки турнепса и брюквы оставалось много сочных листьев, которые с охотой поедали свиньи. А вот плодов практически не попадалось. Я быстро обегал всё поле, выискивая брюкву или турнепс, и таким образом опережал свиней. Найду овощ – с удовольствием хрупаю, не обращая внимания на грязь. А вот на овсяных и ржаных полях (там свиньи подъедали колоски) я придумал для себя другое удовольствие. Так как опять до самого снега (а он выпадал в начале октября) мне приходилось бегать босиком, то, естественно, очень мёрзли ноги. Но и здесь я нашёл выход. Загоню свиней на середину поля, а сам быстро забираюсь на скирду соломы (их обычно ставили на краю поля). Зароюсь в тёплую солому – наблюдаю сверху за стадом. Хорошо и тепло на скирде соломы! Мыши внутри так и шуршат, пищат и даже выскакивают наверх. Мечтаю:

– «Вот бы превратиться в мышку! Как там – внутри стога хорошо и тепло! А пищи – вдоволь! Вон – сколько колосков не обмолоченных! А сколько друзей бы я там нашёл! Да, хорошо быть мышью! Но вот и у них есть враги. Коршуны и ястребы так и барражируют над скирдой. А летом – зимой лисы и совы охотятся на мышей. Нет, пожалуй, не буду мышкой».

Разбредутся далеко свиньи – соскакиваю со скирды и опять их собираю в кучу. Но свиньи быстро всё подъедали, и приходилось перегонять их на новые поля, где не было скирд. Это было самое ужасное. Ноги мёрзнут; стараясь согреться, я всё время двигаюсь, бегаю от кочки до кочки на краю поля. А сзади остаются на мёрзлой траве или инее следы. Разгребу иней на кочке, зароюсь ногами в её середину, обложив ноги сухой травой – и так до следующей погони за свиньями. Или прыгаю сначала на одной ноге, затем на другой. Но всё время погода ухудшалась. Холодные дожди сменились морозным инеем и первым мелким снегом. Теперь по утрам, провожая меня, мать плакала, предлагала мне свои галоши, но я отказывался, зная, что у мамы одна больная нога и ей будет ещё хуже. Ухожу за околицу, оглянусь – мать ревет

и крестит меня вдогонку. Я теперь тоже начинаю плакать, проклиная свиней. И так весь день реву, бегая за свиньями.

На одном поле один раз наткнулся на брошенную силосную яму. Собрал невдалеке свиней, а сам забрался в остатки прошлогодней соломы, грея ноги. Вдруг одна нога наткнулась на что-то твёрдое. Разгрёб солому и отшатнулся – на меня смотрели огромные пустые глазницы голого черепа. Я вскрикнул и отбежал на другой конец ямы. Только начал разгребать солому – показалась рука скелета. Заорал что есть мочи от страха и побежал перегонять свиней на другое поле. Видно, замёрзшие китайцы здесь в своё время находили приют.

Наконец мои мучения закончились, и свиней загнали на зиму в тёплый свинарник. Матери Калякин вдобавок к двум парам галош, дал два мешка турнепса и брюквы, а также по мешку ржи и овса.

С этими припасами нам опять предстояло прожить вторую зиму в телятнике. Мать и Надя Спирина в закутке телятника к тому времени соорудили шалаш – набили его свежим сеном и соломой. Но холод всё равно донимал нас. Шурка опять бросил школу во Вдовино, т. к. ходить туда – сюда шесть километров по глубокому снегу в галошах было невозможно. Теперь мы все впятером (двое Спириных) лежали в телятнике, зарывшись в солому, и грызли замёрзшую сырую брюкву и турнепс, а также рожь и овёс. Печки и посуды, естественно, в телятнике не было, а костёр, который иногда мать и Надя разводили рядом, не особенно выручал нас. Выскочим из телятника к костру – на улице морозище! Погреем один-другой бок, поджарим брюкву – и опять пулей в свой шалаш.

Как-то услышали, как скотник рассказал Аграфёне, что его чуть не съели волки:

– Чудом сегодня спасся от волков! В начале зимы они иногда прибегают в наши края. Я знал это, но не ожидал, что сам встречу с ними! Поехал на Уголки за сеном. Хорошо, что взял самого сильного и ходкого быка. Только связал воз, выехал на дорогу, чую: что – то не то! Собака мечется, носится вокруг быка, норовит ко мне запрыгнуть наверх. А они мгновенно наскочили! Пять штук! Бегут рядом: собаку всё – таки поймали и разорвали. Отстали. Бык бегом несётся, хрипит, мычит! Хорошо, что колея накатанная – каждый день на Уголки за сеном ездят десять саней. Молю Бога, чтобы скорей приехать. Они опять догнали, прыгают на оглобли и на голову быка. Я вилы воткнул в сено – приготовился отбиваться, если будут прыгать на воз. Длинной лесиной их пугаю – отгоняю. На меня они, вроде, не обращают внимания, а на быка прыгают. Бог помог мне! Уж как бык поддел рогом одного – я и не заметил. Только увидел, как они все завизжали и накинулись на раненного собрата! А тут и показались огни крайних изб.

Я перестал плакать и дрожать от холода, услышав этот жуткий рассказ.

А морозы в эту зиму стояли просто злющие. Наши скудные припасы заканчивались, и мать ревела, причитая:

– Дети! Выживем ли эту третью зиму в проклятой Сибири! Что мне делать? Как сохранить вас? Боже, спаси нас! Сколько нам ещё мучиться?

От всего пережитого, от холода и голода – мы опять начали иногда терять сознание. Когда было не вмоготу – в полуобморочном состоянии вылезали из своего шалаша и грели руки под горячей струёй мочи телят. Мать ежедневно умоляла и просила телятницу взять нас к себе домой, но та сурово отмалчивалась.

## Глава 8

## Голод

*Мы собирали колоски и лебеду от горя ели,  
а стихотворцы из Москвы от радости или тоски про Сталина нам  
оды пели.*

*Норильский мемориал. М. Люгарин*

Никто из сибиряков не пускал нас в свои избы на постой и мы со Спириными поселились в телятнике на краю посёлка. Вовсю уже свирепствовала зима, снегу было по колено, ночами мороз был до сорока градусов. Мы выбрали в самом углу телятника закуток, наносили со всех сторон (даже надёргали из стен и крыши телятника) вороха сена и соломы, зарылись в неё в старых фуфайках, залатанных пимах, дырявых шапках и рукавицах, которые нам дали некоторые жалостливые бабы.

Голодные телята лезут со всех сторон в наш закуток, сосут одежду, мочатся под нас. Грязь, вонь, а нестерпимее всего холод, который проникает во все поры тела – дрожим постоянно. Лежим целыми днями, плачем, молим Бога о помощи. Мать рыдает, причитает:

– Господи! Помоги нам и помилуй нас! За какие грехи нам такое наказание? За что наши мучения? Вот и приходит наша смертушка, дети! Бедный отец! Знал бы он, как сейчас мучается его семья! А может, и нет его уже самого на свете. Все дружно ревём, и Спирины с нами воют во весь голос. Особенно мёрзнут руки и мы иногда не выдерживаем. Как только какая-нибудь тёлочка растопыривается, готовясь помочиться, мы протягиваем к струе горячей мочи руки и греем их. Погреешь, обтёр пуком соломы руки и до следующей тёлочки. Как-то мороз чуть отпустил. Мать как бы проснулась, поднялась, вышла во двор, затем говорит мне:

– Колька, надо бороться, надо спастись! Давай пойдём в Алексеевку – раз здесь сибиряки нас не пускают к себе? Может там нас кто-нибудь пустит? Нам бы только до весны продержаться!

Идём с матерью по глубокому снегу. На мне дырявые старые пимы, одет в лохмотьях, на матери старое пальто, подпоясанное верёвкой, облезлая шаль с махрами. Идём, слезами заливаемся. Походили по селу, попрошайничали во дворах, поплакались. Чуть-чуть дали брюквы, картошки и турнепсу.

Одна баба сжалилась, всё расспросила, говорит:

– Ты вот что, девка! Жалко мне твоего пацана. Пропадёте. Приходи завтра на ток! Я бригадир. Будешь работать. Чем могу, помогу.

Мать в Алексеевке начала на току крутить вручную рожь и овёс, а я пошёл «зарабатывать», т.е. побираться. В нескольких дворах были собаки, но большинство дворов были без них. В одном постучал в двери сеней. Выглянула миловидная женщина:

– Тебе чего?

– Тётенька! Дайте чего-нибудь поесть! Я вам песню про солдата спою.

Она улыбнулась:

– Про солдата? Интересно. Давай, может, я не знаю. У меня ведь муж погиб. Ладно, заходи.

Отряхнул пимы, зашёл в избу. Начал бодро, весело:

*Мы расстались в военное время, когда землю бомбили враги. Расставаясь, ты мне говорила: Для меня ты себя сбереги.*

Женщине, как видно, понравилась песня и я. Она расчувствовалась, обняла меня, спросила обо всём, накормила. Сказала:

– Приходи ещё, Коля! Вон в тех трёх хатах (показала) – живут старушки. Я им скажу за тебя. Будешь им помогать по дому – подмести, убрать, принести воды из проруби, почистить картошки, а заодно и песни будешь петь.

К матери я летел, как на крыльях. Всё рассказал – она обрадовалась. С той поры мы с матерью начали ходить в Алексеевку на заработки.

Идём назад из Алексеевки к Шурке, несём что-нибудь ему. Мать за пазухой ржи, овса, я – картошки или брюквы. Дорога переметена снегом – идти трудно. Звёзды сверкают в холодном небе, недалеко от дороги по обеим сторонам чернеет лес. Всё время оглядываемся, страшно и жутко на душе. Местные рассказывали, что в прошлом году на этой дороге поздно вечером шла учительница. Настигли волки. У неё, видно, были спички (знать, она чувствовала свою судьбу?) Начала жечь школьные тетради, отгонять факелом волков. Да много ли продержишься? Прошла с версту, кончились сорок тетрадок. Нацарапала карандашом записку прощальную, вложила в пимы глубоко. Нашли эти пимы с остатками ног учительницы и запиской (войлок на пимах, видать, был очень крепкий) на следующий день.

Обычно в тех краях волки постоянно не водились – очень болотистая местность. Эта стая, видно пришла издалека, но все люди после этого случая стали их бояться.

Иногда, когда была пурга или особенно холодно, мы с матерью оставались ночевать в Алексеевке у одной моей знакомой старушки, которой я помогал и пел песни.

К нашим вшам здесь добавились полчища тараканов и клопов – изба так и кишела ими. Но скоро бабка перестала пускать нас на ночлег, ворчала:

– Вшей-то напустили мне! Господи, как я теперь с ними справлюсь! Тараканы-то не злые – не кусаются! А эти твари, как собаки! Идите с Богом – и больше не приходите!

А тут и на току рожь кончилась! Немного овса матери дали и велели также больше не приходить. Дома из овса мы варили кашу и кисель на воде. По инерции мы с матерью походили ещё в Алексеевку, но уже никто не давал продуктов и не приглашал помогать по дому и петь песни. Мы побирались, выпрашивали кожурки от картошки и очистки от брюквы и турнепса и варили их дома в сенях телятника.

Был конец декабря сорок пятого года, морозы стояли сильные, мы пообморозились и перестали ходить в Алексеевку. Лежим в телятнике, зарывшись в сено, на холодной, мёрзлой и мокрой от мочи телят соломе целыми днями-ночами, непрерывно дрожим и плачем навзрыд.

Наступил, кажется, конец нашим мучениям – мы медленно умирали. Грязные, косматые, с воспалёнными глазами – мы дрожали, метались, стонали и непрерывно плакали. Крепче всех оказалась Надя Спирина – мать Клавки. Она всё ещё выходила – выползала из телятника и где-то пропадала. И вот, наконец, как-то поздно вечером принесла в телятник задушенную на верёвке небольшую собаку. Уж где и как она подстерегла собаку и сумела задушить – не знаю, но это дало нам шанс прожить ещё неделю. Надя довольно быстро сняла шкуру, разделала и сунула четвертинку в чугунок. Вдвоём они пошли в ближайший лесок и наломали сухого хвороста. Разожгли костерок рядом с телятником и начали варить собачатину. И это спасло нас на некоторое время! Какая же всё – таки сила в мясе – пусть даже собачьем!

Но мясо собаки быстро кончилось, и опять мы начали голодать. Надя и мать ещё раз выварила кости и кишки: мы с удовольствием выпили эту гадость. На этом всё кончилось! Ещё раз или два они что – то приносили, варили в чугунке непонятную пищу и тем продлевали нашу агонию. А потом целую неделю Надя с матерью ходили по окрестностям, пытаясь вновь поймать собаку, но всё было безрезультатно! Теперь мы жевали только овёс, с полмешка которого у нас ещё осталось.

Почти ежедневно к телятнику приезжали со свежей соломой или сеном скотники. Услышали их разговор:

– Аграфена! Твои-то постояльцы ещё живы? Держатся? Что же они едят? Не жалко тебе их? Ты же одна. Возьми хотя бы мальцов домой к себе.

– А ты, Прокл, не учи меня! Сам и возьми детей к себе. Ишь, какой добрый за чужой счёт! Забирай их – и мне легче будет. Тошно уже смотреть на их мучения!

– Детей у меня самого в одной – то комнате – шесть душ! Взял бы этих бедняг, да некуда! Так на чём они держатся? Картохи даёшь им?

– У меня картошки самой в обрез. А жрут они, видно, собак и кошек. Вон – несколько шкур появилось в ногах у детей!

Скотники с интересом подошли к нам в угол и разгребли солому. Покачали головами и, бормоча что-то под нос, ушли.

А сибирячка, приходя кормить сеном телят и убирать навоз, продолжала равнодушно взирать на нас. Было вернувшаяся надежда, сменилась отчаянием – мы опять начали угасать. Вот и Надя смирилась с неминуемой смертью и перестала выходить из телятника.

Как – то сквозь дрёму, и какое-то бессознательное равнодушное состояние опять услышали разговор двух скотников, привезших свежую солому в телятник:

– Аграфена! Сейчас были на Замощье. Набираем вилами со скирды солому и вдруг натываемся на кучу покойников. Сколько их там!

– Кавказские?

– Нет – китайцы! И откуда их столько?

– То-то я смотрю их по деревне начало много шататься! Вот навезли на нашу голову бездельников! Начали, видать,дохнуть.

– Ночью они все уходят за деревню. Ночуют в скирдах соломы и сена. Стога-то сена находятся дальше от деревни, но и там, говорят, уже стали находить покойников. А твои-то постояльцы ещё живы?

– Живы – мать их так! И сердце за них болит, и зло берёт – привязались к телятнику на мою голову. Мальцов, правда, жаль. Помрут всё равно. Думаю, неделю-две ещё помяются.

Скотники уехали, а Надя Спирина начала о чём-то с матерью шептаться. Она что-то горячо ей доказывала, но мать упрячилась:

– Да ты что, Клава? Как можно? Это же грех! Да и сможем ли мы есть?

– Грех, конечно! Собак и кошек, вон, съели ещё как – и это съедим. А что? Помирать лучше? Может, ещё выживем. Ты что – не помнишь, как рассказывали наши родители о голоде на Северном Кавказе и Поволжье в тридцать третьем году? Тогда многие выжили только благодаря этому.

Всю правду об этом разговоре мы узнали только через десятилетия.

На следующий день мать с Надей, кряхтя и постанывая, куда-то опять засобирались. Клава, Шурка и я еле шевелились, непрерывно дрожали и всхлипывали. Взрослые накидали на нас вороха соломы и ушли.

Сознание вернулось ко мне только тогда, когда сквозь сон услышал, как мать, плача, тормошит меня:

– Колюшок, очнись! Мы спасены! Председатель дал нам мяса!

И, правда – в ноздри пахло чем – то необычным! Мать с ложки поила нас бульоном, а затем дала и кусочек печени.

Мы опять начали медленно приходить в себя. Теперь ежедневно Надя с матерью поили всех троих детей бульоном. Принесли откуда-то ворох разодранной одежды и одели на нас. Теперь мы стали походить на кочаны капусты. Но холод всё равно нестерпимо донимал нас. Телятница, видно, о чём-то догадывалась и, приходя по утрам, презрительно смотрела на мать и Надю Спирину:

– Бессовестные вы люди! Ишь, что удумали! Бога нет у вас в душе! Разве можно так делать? Звери вы, а не люди! Вот выгоню вас отсюда на мороз!

Мать валялась в ногах у сибирячки:

– Аграфена! Прости нас! А что делать? Себя уже не жалко. А как деток спасти? У нас уже не было выхода. Спасём детей – Бог нам простит этот грех! А бедных людей уже не вернёшь с того света!

Мы не понимали смысла их разговора. А лютая зима продолжалась – было очень холодно. Мать с Надей еженедельно куда-то уходила и приносила нам спасительную печенку. Всё также взрослые ходили в лес – набирали сухих дров и по вечерам, когда уходила телятница, варили в чугушке суп. Иногда они добывали мёрзлой, свинячьей картошки или очисток, а также остатки нашего овса – и тогда наш суп был просто великолепен! Мы уже иногда выползали из телятника, когда было тихо и безветренно.

Как-то подъехали скотники. Услышали их разговор:

– Последний раз были в Замошье – скирда уже кончилась. Ужаснулись – у всех замёрзших китайцев вырезана печенка. Лисы, росوماхи уже растаскивают по полю трупы. Не твои ли, Аграфена, постояльцы печенку вырезали?

– Ну, а кто же? Да не одни они сейчас этим занимаются. Вон, по деревням, сколько голодных ссыльных! Пропасть, какая-то.

Мы особенно и не понимали смысла разговора: были в полубреду и в полубессознательном состоянии, так как вскоре начали опять люто голодать – мама и Спирина перестали нас кормить. Они теперь никуда не выходили и лежали в соломе рядом с нами – видно, председатель перестал им давать продукты, было спасшие нас.

Нам стало всё равно – на душе была пустота. Постепенно привыкали к мысли, что уже не имеет смысла сопротивляться, т. к. спасения нет – мама расписалась в собственном бессилии и надо готовиться к худшему. Она как-то громко зарыдала, горячо заспорила с Надей Спириной:

– Всё, всё, Надя! Ты как хочешь, а у меня уже нет сил – так мучиться. Я не могу смотреть, как страдают дети и медленно, с мучениями, умирают. Куда ты дела ту верёвку? Ночью вон на той жердине повешу детей, а потом и сама.

– Нюся, что ты говоришь? Разве можно так? Может, ещё как-то обойдётся. А верёвку где-то за телятником занесло в снегу.

Мы с Шуркой практически не удивились такому решению матери. Ну и пусть! Нами овладела апатия и равнодушие – скорей бы закончилась такая жизнь! Такое балансирование на грани жизни и смерти у меня в Сибири будет ещё неоднократно. Постоянный голод в течение нескольких лет, холод, гибель в воде и на льду (чуть не утянуло под лёд); несколько раз тонул в трясине, неоднократное обморожение, нападение сохатых, а также несколько падений с деревьев – эти стрессы стали постоянными спутниками в этой проклятой Сибири. К ним в будущем добавился пожар в тайге, где я чудом не сгорел, а также один случай, когда меня откопали в снегу, уже не шевелившегося. Но об этом позже.

Сибирячка-телятница всё-таки не выдержала наших рыданий, сжалась и пустила нас троих к себе в маленькую избушку, а Спирины остались в телятнике. Мать начала помогать нашей спасительнице работать в телятнике – таскать воду на коромыслах из Шегарки, поить, кормить телят, убирать навоз. Уходили они на весь день, а мы – голодные, лежим и ждём, когда вернётся мать и чем-нибудь накормит.

Хозяйка, конечно, опасалась нас – голодных и тщательно прятала свои припасы. Хлеб и продукты она прятала в сундуке, а картошку в погребке. На обеих крышках были замки. Но сундук был старый, крышка разболтана, приподнимается.

Голод просто сжигает желудок – уже не выдерживаю. Еле-еле протискиваю руку в щель, нащупываю в сундуке хлеб, поднимаю его кверху, чтобы видно было в щель. Шурка, придерживая просунутой в щель ложкой хлеб, другой рукой ножом с муче-

ниями отрезает по всей ширине надрезанной буханки тонкий ломтик. Я осторожно опускаю буханку назад, ломтик хлеба делим пополам, маленькими кусочками закладываем под язык. Хлебная слюна идёт – глотаем, стараемся подольше держать хлеб во рту, стараемся друг перед другом, кто дольше хлеб сосёт, хвастаемся:

– А у меня ещё хлеб есть – а у тебя нет!

Понемножку крадём у сибирячки из печки сушёные кожурки картошки и брюквы – грызём. Я узрел в полу за кроватью большую щель в подпол. Выбежал на улицу, срезал с ольхи во дворе прутик, заточил его и давай тыкать в темноту погреба. Получилось – наколол картошку, потихонечку вытащил, затем ещё и ещё. Правда, много картошки срывалось, но мы беззаботно продолжали воровать, т. к. голод подстёгивал нас. Картошку запекли в русской печке. В ней мы практически весь день поддерживали огонь, для чего нам ежедневно строго по поленьям выдавала дрова хозяйка, чтобы изба не выстудилась. Прутик тщательно прятали от хозяйки в своих лохмотьях.

Не прошло и месяца – поймались мы с поличным. Шурка неловко пытался наколоть картошку и уронил в погреб прутик. Я от досады накинулся на него:

– Сопляк паршивый! Что ты наделал? Сволочь! Теперь хана!

Недотёпа!

Мы здорово подрались и разошлись в слезах по углам избы. Притихли, ожидая бури. Хозяйка вечером полезла в погреб за картошкой – увидела прутик, вылезла багровая от злости. Мы сжались от страха:

– Ах вы, твари! Я вас, как людей, пустила в свою избу, обогрела, спасла от смерти. А вы что творите? А я, дура, не пойму, почему у меня сверху вся картошка в дырочках. Вон что удумали. Вон отсюда, воры кавказские! Чтобы я вашего духа здесь больше не видела и не слышала!

Мать плачет, просит за нас прощения, валяется в ногах у хозяйки. Ничего не помогает! Немного сжалилась, оставила до утра, не выгнала на ночь. Утром чуть свет проснулись – хозяйка выгнала нас на улицу с нашими лохмотьями и повесила замок на дверях избы. Всё! Куда идти? Все ревём белугой. Куда деваться? Опять, как звери, в телятник? Мать плачет, рыдает – в злобе бьёт нас с Шуркой.

Идём в контору колхоза. Зашли. В конторе дым коромыслом от курящих мужиков. Все пришли утром за разрядкой на работу. Кому за дровами в лес ехать на быках, кому за сеном-соломой в поля, кому за кормами в Пономарёвку или Пихтовку.

Мать с порога в истерику упала перед Калякиным:

– Никуда не пойду больше! Нет больше сил, нет мочи! Утоплюсь с детьми в Шегарке из-за тебя, паразит, душегубец! Пусть на тебе будет наша смерть! Ответишь перед Богом!

Калякин выскочил из-за стола, заорал, заматерился, выгоняет нас из конторы. Мужики загалдели, заговорили:

– Леонтьевич! Да сжался над малыми детьми. Пусти их в контору – вон пусть лежат на полатах. Что они – будут нам мешать? Уймись.

Сдался Калякин. Видит – у нас наступил предел терпения. Заматерился:

– В рёбра мать! Оставайся, Углова, чёрт с вами, здесь! Да не мешайте нам работать.

Стали мы жить в конторе – в проходной комнате на полатах. В другой комнате жил армянин – бухгалтер Атоянц Мосес Мосесович с семьёй (жена и сын Ашот), тоже ссыльный. Мы весь день тихонько лежали на полатах, слушали гомон мужиков, глотали клубы табачного дыма, а мать уходила добывать еду. Вечером, когда контора пустела, мы прыгивали с полатей, оправлялись, растапливали печку, благо дров завозили в контору мужики много.

Из продуктов у нас осталось четверть мешка овса. Поставишь в русскую печь чугунок овсяной кисель варить, сколько не стереги – всё равно сбежит! Почему-то всегда мгновенно

выплёскивался кисель! Жалко, подбираешь пальцами с грязной печки его – и в рот! Мать приносила вечером мелкой и гнилой картошки, кожурки, и мы ужинали этим «добром».

А Мосес Мосесович вечером, когда уходили правленцы, наварит ароматной картошки-толчёнки (видно, с молоком и яйцами, а может, даже масло было – больно уж жёлтая она была) и давай тоже ужинать. Наложат они толчёнки в три миски горой, как копна сена, да ещё ложкой пристукают со всех сторон и начинают смаковать! У нас голодные глаза блестят, слюнки текут, в животах судороги.

Но нет – ни разу не угостил нас Мосес Мосесович роскошной толчёнкой! Таковы были те времена – каждый выживал, как мог!

Был уже конец зимы. Мы не выходили на улицу много дней, т. к. окончательно обессилили от постоянного голода. Овёс кончился, мать в отчаянии не знала, что дальше делать.

Шурка в начале года с месяц ходил в школу, а затем бросил. Мы с каждым днём теряли интерес к жизни. Нам надоело плакать, голод приглушил все чувства. Все мысли были только о еде. Какая-то апатия и равнодушие овладели нами. Накрывшись старым материным пальто – в рвани, в лохмотьях, мы целыми сутками не слезали с полатей. Ногти на руках и ногах выросли огромные, все косматые, во вшах – мы медленно угасали. И, наконец, наступил кризис – предел нашего сопротивления и желания жить! Мать, постанывая, утром не смогла подняться больше на ноги и пойти добыть где-нибудь на помойках или около свинарника, телятника, курятника нам что-то съестное.

Прошла неделя, десять дней, две недели, как мы абсолютно ничего не ели. Жёлтые, пухлые, брюзглые, косматые – с длинными ногтями на руках и ногах, как у зверей. Вши открыто ползали толпами по нашим телам, голове, и даже по лицу, но сил их давить у нас уже не было. Мы были уже в бессознательном состоянии.

А жизнь в конторе протекала под нами так же. Щёлкал счётами бухгалтер Мосес Мосесович. По утрам, отправляя мужиков на работы, матерился Иван Калякин. Гудели, курили махру бригадиры, ругались и спорили при распределении быков сибирячки. Никому не было дела до трёх несчастных, замолкших на полатях ссыльных. А, скорее всего, может, и догадывались люди, почему затихли дети. Значит, умирают с матерью. Ну и что – что умирают? Кого этим удивишь, когда ежедневно в деревне вывозили трупы в общие рвы – могилы десятки таких же обездоленных несчастных людей, брошенных на произвол судьбы жестокой властью! А уж сотни китайцев, непонятно за что и почему сосланных в эти двадцать две деревни огромной Пихтовской зоны – первые замёрзли, окоченели и погибли от голода. Что удивительно? Не один из них не осмелился грабить, убивать местных жителей. Они мирно побирались, бродили между деревнями, пытались рыться в снегу и мёрзлой земле, добывая остатки картошки, турнепса и брюквы, ржи и льна. Первое время китайцам кое-что подавали, но ближе к середине зимы сибиряки перестали делиться с ними и они начали умирать. А власть равнодушно взирала на массовую гибель китайцев. Мы были на краю пропасти и, конечно, не догадывались, что сами станем спасителями для одного китайца – дяди Вани Ли, который проживёт в нашей семье не один год.

Итак, мы умирали. Как – то ночью мама еле растолкала нас. Она рыдала:

– Колюшок, Саша, очнитесь, проснитесь! Пока ещё в сознании – давайте попросаемся! Мы завтра-послезавтра все умрём! Я явственно это видела во сне! Мои родные деточки! Простите меня за всё! Простите, что не сберегла вас!

Мы все трое обнялись и горько завывали. Солёные слёзы мамы и Шурки смешались с моими слезами, но вдруг во мне что-то проснулось. Я закричал:

– Мамачка! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Не хочу! Не хочу! Не хочу!

Мы рыдали, целовали друг друга и медленно уходили в мир иной, теряя опять сознание.

Но для нас чудо всё – же состоялось: мы остались живы! Бог сохранил и помог нам – в этом я уверен! Нашлась добрая душа в этой глухой и суровой деревушке!

Утром Шуркина учительница Ольга Федосеевна Афанасьева (может, кто сообщил, что умирает её ученик, может, сама догадалась) забежала в контору, поднялась на полати, заглянула – мы слабо зашевелились. Она ахнула:

– Вот где мой ученик! А мне сказали, что их переправили в Пихтовку! Я запомнила Шуру. Прилежный мальчик, послушный. Бедолаги! Они же помирают!

На наше счастье, как раз в конторе рядом с Калякиным сидел председатель сельсовета соседнего большого села Вдовино – Зайцев (он приехал на конных санях по каким-то делам). Он знал, очень ценил и уважал учительницу, которая, как мы потом узнали, к тому же была депутатом райсовета. Ольга Федосеевна гневно закричала:

– Архип Васильевич! Ты посмотри, что сделал Калякин с детьми? Бессовестный и бессердечный человек! Он же преднамеренно загубил детей. Что – нельзя им было выделить мешок-два картофеля? Мать бы летом отработала. Я тебя Христом – Богом прошу: давай, ещё, может быть, спасём деток. Прошу тебя – отложи свою поездку в Пихтовку и сейчас же отвезём их в нашу больницу.

Зайцев тоже заглянул на полати, посмотрел на нас, покачал головой:

– Что же ты делаешь, Иван Леонтьевич? Неужели нельзя было помочь этим бедолагам? Ладно, китайцы чужие люди. А это же всё – таки русские.

Калякин заорал, что есть мочи:

– Архип! А на кой ляд они мне нужны – эти дармоеды, туда их мать! Их много таких навезли. И никто не хочет работать. А жрать все хотят – только давай!

Плюнул в сердцах на пол Зайцев, и вместе с Ольгой Федосеевной понёс нас с Шуркой на сани. Маму еле стащили с полатей и привели в чувство. Ей Ольга Федосеевна дала больше полбуханки хлеба и нам за щёки сунула по маленькому кусочку, сказала:

– Дети! Хлеб не ешьте, а только медленно сосите – иначе умрёте! Потерпите немного! Вас спасут! А вы, Углова, постарайтесь завтра найти меня. Чем могу – помогу!

Мать, шатаясь, поднялась, заголосила, кинулась в ноги к Ольге Федосеевне, целовала руки, благодарила.

Она осталась, а нас повезли во Вдовинскую больницу.

От холодного воздуха пришли в себя – голова кружилась. Помню, занесла в помещение меня какая-то женщина, говорит:

– А этот ещё ничего – щёки есть! А постарше, видно, не выживет!

Скинули с нас лохмотья – и тут я потерял сознание.

## Глава 9

## БОЛЬНИЦА

*И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:  
Удвоить, утроить у этой стены караул,  
Чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое.  
Евгений Евтушенко.*

Был уже март, но холода и пурга не унимались. В больнице мы отошли, поправились, начали опять шалить. Но ежедневно вспоминали о матери – жива ли? Позавтракаем и сразу лезем на подоконники. Подуем на лёд, растопим, сделаем окошечко и смотрим на дорогу – не идёт ли мать? Нас нянечки отгоняют от окон, а мы опять лезем.

И вот как-то раз я закричал:

– Шурка! Мама идёт!

И впрямь, взглядываемся: вдалеке кандыляет мать. Встретились, расплакались:

– Деточки! Голубушки! Живы! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Всевышний! Я уже думала, вас не увижу.

Мать суёт нам по целой сырой свёкле. Ей дала наша кислородчанка, ссыльная Ольга Соловьёва, которая работала в правлении колхоза бухгалтером во Вдовино. Мы смеёмся:

– Что ты, мама! Мы сыты, здесь здорово кормят, сама съешь!

– Ну, как вы? Как я рада. Дети! Вас спасла Ольга Федосеевна! Помните её всю жизнь. Коля! Вон девочка побежала. Это не Зинка Драганчу из Носково? Помните, в соседней избе жили молдаване?

– Да, она. Так знаешь, она одна осталась, её тоже недавно привезли в больницу. Все пять братьев и сестёр умерли от голода в эту зиму. Вчера её мать приходила навестить. Сама еле тащит ноги, плачет, всё это рассказала. И ещё говорит, что детей не стала хоронить в снеговой общей яме, т. к. волки стали растаскивать трупы. Все трупы детей сложила она в холодный погреб до весны. Говорит, чуть засну и чудится мне, что дети все хором зовут меня и плачут: мама, дай покушать! Открою крышку погреба – нет, все мои деточки лежат, как живые, но не шевелятся!

– Ужас, дети! Я хожу по деревьям – тоже видела трупы замёрзших людей. Что творится здесь! Я сейчас, дети, уйду, а то ещё увидит главный врач и заставит вас забрать. Это же смерть нам всем.

Засобиралась мать, т. к. зимние дни в Сибири короткие и уже вечерело. Только позднее узнали мы, что в этот день мать была на грань от смерти и опять чудом спаслась. До Носково восемь километров. Дорога практически в снегу, не наезжена, еле угадывается, т. к. постоянно перемётывается позёмкой. Со своей хромой ногой уже затемно дошла до Вдовино и решила там заночевать. Попросилась ночевать к тем, кого уже знала: Масленниковым, Крыловым, Захаркиным, но все отказали, так как якобы не было места в избах. Мать заплакала:

– Бессовестные вы и бессердечные люди! Мне что, умирать теперь? Я же не дойду. Бог вас накажет.

Нечего делать. Пошла, на ночь глядя, в Носково. Дорога из Вдовино в Носково идёт вдоль Шегарки. Пурга усиливается, столбы телефонные стоят вдоль дороги, гудят. Это хорошо, думает мать, не заблудишься. Только смотри за столбами, т. к. дороги ночью не видно, кругом бело. Долго и утомительно продвигалась мать по еле заметной санной дороге. Ноги застревают в рыхлой массе по колено, колючий злой ветер перебивает дыхание, слепит глаза, темно. Вот и уклонилась незаметно чуть в сторону мать. Ахнула с головой в снежную яму. Оказывается, попала на берег Шегарки. А река переметена снегом вровень с берегами и полем, зимой просто её не видно. Даже не догадаешься, где когда-то летом была речка. Пыталась, пыталась

Анна Филипповна выбраться, да ещё глубже провалилась до самого льда реки, так как нога-то негнушная. Тяжело бороться калеке в снежном плену. Барахталась, барахталась, обессилела, плачет, снегу везде набилось. Поняла, что пришёл конец.

Да видать, не помирать нам было в Сибири! Бог спасал всех нас! Притихла мама, замерзая, и вдруг сквозь сон услышала звон колокольчика. Завозилась, закричала, завизжала из последних сил. А это ехал почтальон дед Лазарев. Услышал он какой-то крик, не поймёт, откуда идёт. Остановил сани, слушает. Затем привязал лошадь к ближайшему телефонному столбу, пошёл на звук голоса:

– Кто там кричит? Что за дьявол? Откуда крик, не пойму? Мать взмолилась:

– Помогите! Замерзаю, провалилась в реку. Это Углова Нюся!

Дед, наконец, разглядел в снегу мать:

– Эж, тебя угораздило, чёртова баба! Как же ты сюда попала? Глаза, что ли, у тебя повывлазили?

Поворчал дед Лазарь, протянул руку, вытащил мать, спас от верной гибели. Привёз к крайнему дому в деревне к Кузнецовой Полине и вместе с ней отёрли свиным салом, укутали, напоили горячим молоком мать. С того дня остались у матери отметки. И без того стёртые при стирке в госпитале пальцы рук здесь тоже обмёрзли и верхушки стали куцыми.

По пурге ещё раз приходила проведать нас мать, и с первого раза её пустили ночевать Шмаковы, хотя у самих было восемь душ детей. Со всеми этими людьми мы ещё будем встречаться, жить во Вдовино после, но, забегая вперёд, скажу, что судьба этих бессердечных людей была жестокой! Может это и совпадение, но я верю в Божью кару. У Калякина сняла довольно значительную сумму сбережений, обманув его, родная сноха, якобы для покупки дома в Алма-Ате, и исчезла с ними. Калякин с горя начал беспробудно глушить самогон вместе с сыном, да так поочерёдно оба загнулись от перепоя. У Масленниковой Нади повесился взрослый сын Мишка, а она с горя тоже быстро умерла. У Крыловых аналогичная ситуация: дочь повесилась. А Захаркин умер от ожирения. Что касается Атоянца Мосеса Мосесовича, то его в эту зиму выгнали за какие-то грехи из бухгалтерии и он умер от голода вместе с женой, а сына Ашота также взяли в детдом вместе с нами.

Наступила весна 1946 года и первой новостью среди наших была:

– Слышали? Казарезова Маруська убежала с детьми! Вот отчаянная бабёнка, а? Как она эти двести вёрст до Новосибирска дойдёт? Ведь поймают, забьют до смерти.

А надо сказать, что все ссыльные отмечались каждую неделю в комендатуре. Но сразу скажу, что права поговорка: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское». Казарезова месяц добиралась до Новосибирска, прячась с детьми в кустах около дороги, когда встречались люди. А в Новосибирске забралась в товарняк и благополучно приехала в Пятигорск. Не знаю, как она там устроилась, но после нашего освобождения мы неоднократно встречались с её детьми.

Из больницы нас с Шуркой перевели, опять по настоянию Ольги Федосеевны, во Вдовинский детдом, как и мать. Её также устроила она прачкой в детдом. Всё это ей стоило опять невероятных усилий, т. к. директор детского дома Микрюков категорически не хотел нас принимать, и звонил даже в Пихтовку какому – то начальству. Но Ольга Федосеевна перехватила телефонную трубку и всё – таки доказала кому – то, что она права.

Но Микрюков затаил на нас злость, строил всякие подлости и, в конце концов, выгнал мать и нас из детского дома, опять поставив нашу семью на грань смерти. Но об этом чуть позже.

Мать впервые за эти два ужасных года отправила письмо бабушкам Оле и Фросе, сообщив, что мы живы – здоровы.

Вдовино в то время было самое большое село в том краю – около пятисот дворов по обе стороны речки Шегарки. Два колхоза. «Северный земледелец» – слева от Шегарки, «Северное сияние» – по правую сторону речки. Во Вдовино находилась больница, школа – семилетка,

точнее 5 – 7 классы. Вторая начальная школа за прудом, 1 – 4 классы. Имелась почта, мельница, пекарня, магазин, клуб. Село большое, раскидистое, привольно размахнулось, расстроилось по берегам красивой таёжной речке Шегарки, извиистой, с широкими омутами, спокойной и неторопливой. Сразу за деревней колхозные поля. Сажали в то время рожь, лён, овёс, картофель, горох, брюкву, свёклу и турнепс. Поля идут попеременно с перелесками и чем дальше от села, тем больше берёзовых, осиновых колков. А в 9 – 10 километрах начинался сплошной Красный лес, т. е. сосновый, пихтовый бор, уходящий в Васюганские болота. За деревней сразу болота, кочкарник клюквенный, гудящий летом комарьём. Слева от Вдовино большое село Каурушка (до войны было даже больше Вдовино – 650 дворов). Вверх к истокам Шегарки посёлок Жирновка (350 дворов), ещё выше Юрковка (250 дворов) и Вершина (100 дворов). Вниз по Шегарке были небольшие посёлки Лёнзавод, Носково, Хохловка, а в двадцати километрах от Вдовино большое село Пономарёвка на 800 дворов, в котором располагалась МТС, снабжавшая наши колхозы тракторами, машинами, уборочной техникой. А в пятидесяти километрах от Вдовино была наша «столица» – районное село Пихтовка на 1000 дворов. Между Пономарёвкой и Пихтовкой было ещё с десятков сёл – Атуз, Залесово, Мальчиха и Марчиха, Вьюны и другие. Вообще, жизнь бурлила, клокотала там в те годы. Основное население там – ссыльные. Это был огромная пересыльная зона. Коренных сибиряков там было очень мало. Те, кто считал себя уже сибиряками, были сосланные в 1929 – 33 г.г. семьи кулаков и подкулачников – так именovala советская власть зажиточных крестьян и тех, кто не хотел вступать в колхозы. В каждом селе была комендантура, где еженедельно отмечались все взрослые. У комендантов были в подчинении рядовые бойцы, а сами они разъезжали на сытых конях, глумясь над беззащитными людьми.

Много тысяч разного люда было сослано туда. В каждой избе во всех сёлах и деревнях было набито «до потолка» людей «всех мастей», но больше политических.

Вспоминается эпизод, о котором долго судачили в деревне. Работал в колхозе неприметный мужичонка по фамилии Феньков, о котором говорили, что «не всё ладно у него с головой». Но был тихим, старательным, работающим. В этом году он женился на одной доярке. Говорят – любил её беззаветно! Но не прожили они и трёх месяцев, как её комендант Альцев арестовал, и отправил в Пихтовку. Вроде бы она украла четверть мешка жмыха и ночью, когда тащила его домой, попала в комендантам. Дали ей четыре года тюрьмы. Феньков с горя запил, благо самогон всегда можно было найти. Самогон тогда гнали втихомолку почти в каждом дворе, т. к. водка была дорогая. Как только его не увещевали, грозили отдать под суд – он не выходил на работу. Однажды с перепоя он чуть не сжёг избу, и изрубил топором всю свою немудрящую мебель. Под горячую руку попался ему один сапог – он и его искромсал. Но всё же через некоторое время он остепенился и вышел на работу... в одном сапоге. Вместо другого сапога был старый лапоть. Мужики смеялись над бедным Феньковым:

– Прокоп! Что же ты в одном сапоге и лапте? Выкинь его и ходи в двух лаптях. А так... смешно.

Феньков невозмутимо отвечал:

– Дык... конечно... оно тово! Сапоги – они для мужика, особо в нашу грязь, очень нужны. Это как семья – два сапога. Муж и жена. А что я таперича без жены? Вон – видел по фильму, как Сталин всегда в сапогах. И жена, видать, у него есть. Дюже любит он сапоги! А я что? Я тоже.

Кто – то, возьми, и скажи ему:

– Прокопий! А ты попроси у Сталина сапоги!

– Что – могёт дать?

– Конечно! У него их много! Ты только проси не новые. Пусть стоптанные хотя бы пришлёт! Только ему надо доказать, что у тебя они совсем негодные, а то не поверит.

На следующий день Феньков принёс на почту заведующей небольшую посылку. Она ахнула, увидев, как каракулями на упаковочной бумаге было нацарапано:

– *Масква. Кремль. Таварищю Сталину. НСО Пихтовский район д. Вдовино от Фенькова Прокопия.*

Рогачева засмеялась:

– Ты что, сдурел, Прокоп? Сталину посылку... ты что... тебя же арестуют! Не приму! Что ты там положил?

– Ольга! Не твою ума дела! Примамай! На – рублёвку! Я пашёл.

Повернулся и ушёл.

Рогачева доложила Альцеву. Комендант живо прискакал. Развернули перевязанную дратвой пергаментную бумагу. Внутри лежал... грязный, рваный сапог, а сверху записка:

– *Таварищ Сталин! У меня жену ареставали и посадили в тюрьму намагите вызвалить. А тут щё сапоги парвались. Пасматрите все в дырках! Могёт у вас есть старые просьба вышлите! А я таперича буду стараться работать на блага камунизма. Феньков Прокопий*

.Альцев швырнул сапог на пол, грязно выругался, а потом, врубившись, расхохотался:

– Дурак – он и есть дурак! Что с него возьмёшь?

С той поры мужики скалились, встречая Фенькова:

– Ну, что, Прокопий? Сталин прислал тебе сапоги?

Тот невозмутимо отвечал:

– Нет ещё! Видать, дялов у него многа. Ничаво. Дайдёт очередь и да меня.

Так вот, продолжаю о ссыльных.

Тысячи людей умирали от голода – холода, но среди местных сибиряков ходила прямо – таки легенда о живучести одной группы людей из Кировской области. Помню, рассказывал один колхозник:

– Вы – кавказцы, слабаки! Жидкие на расправу! Какие – то немощные, неприспособленные. И вымираете, как мухи! Вот отсюда – километрах в 70 – 80 —ти есть посёлок Усть – Тоя. Это его так ссыльные из Кировской области назвали. Привезли туда весной триста семей кулаков в тридцатом году. А там нет ничего. Только дремучая тайга на слиянии двух речек – Баксы и Шегарки. Сказали им: живите, осваивайте тайгу, корчуйте лес, стройте дома. Уцелеете за зиму, приедем на следующий год организовывать из оставшихся в живых колхоз. Тогда, может, поможем колхозу. И что вы думаете? Уже через неделю у всех семей были добротные землянки, обделанные деревом. Все работали до крови! Вцепились, вгрызались в землю. Корчевали, пилили, жгли, копали, сажали, строили круглыми сутками. Лихие были мужики и бабы и до жизни охочи! Коротко сибирское лето, но к зиме все триста семей перешли из землянок в рублёные новые избы с подворьем, да и немудрящий урожай приспел. А зимой охотились, рыбачили на льду и, представляете – все выжили! Вот это люди! А вы? Эх, мелкота!

Наши бабы возражали:

– Митрич! Что ты сравниваешь хрен с пальцем! Вот ты говоришь, что там семьи кулаков были. Это же работающие селяне с мужиками. А мы? Одни бабы с детьми, да ещё городские.

В Усть – Тое комендатура впоследствии организовала сильный колхоз. Село расстроилось. Туда начали присылать новые партии переселенцев и даже организовали детдом – уже четвёртый в Пихтовском районе. Вот оттуда – то и прислали сына кулака Микрюкова Бориса во Вдовино для организации здесь детского дома, т. к. детей была уйма. Временным замом (на период организации) детдома он назначил порядочного, добродушного мужичка по фамилии Ядовинов, но потом его сместил. Микрюков уже успел отслужить в армии. Где – то воевал на фронте и пользовался доверием власти. На войне он получил травму черепа, после излечения приехал назад, учительствовал в Усть – Тое, где и женился на преподавательнице геогра-

фии Елизавете Яковлевне – шустрой тётке, энергичной и крикливой. Непосредственные хлопоты в организации детского дома во Вдовино легли на председателя сельсовета Зайцева.

## Глава 10

## Спасение

*В нём Бога видели они, считая наши трудодни.  
Куда не глянь — воздя портрет. А нас уже кого-то нет...  
Норильский Мемориал. Михаил Люгарин.*

Первым директором детдома назначили Ядовинова, а его замом Микрюкова. Заведующий больницей Маранс с большой радостью освободился от нас, и мы все трое перешли в детдом (мать прачкой). Детей «врагов народа» практически не брали в детский дом, но принять нас уговорила Ядовинова опять учительница Ольга Федосеевна с председателем сельсовета Зайцевым.

Основным зданием детдома выбрали деревянное, длинное, с тесовой крышей помещение, в которое должно было поместиться 110—120 детей. У входа располагалась комната персонала – бухгалтерия, затем четыре классных комнаты по 30 человек в каждом, солидный зал для коллективных мероприятий и через комнату – кубовую коридор, ещё одна спальня и туалет для малышей. Была создана одна смешанная группа для самых маленьких, две старших группы мальчиков и одна девочек. Столовая располагалась отдельно в ста метрах от детдома. Здесь же кухня, склад, изолятор, прачечная, баня – все эти отдельно стоящие избы почему-то называли Хомутовкой. Получился просторный двор у детдома, свой участок под огороды, грядки, спортплощадка для игр. Школа была рядом с отдельно стоящей избой – учительской. Комнаты-спальни в детдоме топились дровами, топки печек выходили в коридор – зал так, чтобы няня, топившая рано по утрам печи, не будила нас.

Детдому выделили два ездовых быка и лошадь. Завхозом был Коржавин Иван – крепкий жилистый сибирячок в вечной гимнастёрке с одной медалью, кудрявый, с узким птичьим лицом, немногословный, но работающий мужик. У него в подчинении был молодой рабочий Мозолевский Михаил, который впоследствии, через десять лет, отбил жену у Коржавина – красивую разбитную голубоглазую бабёнку Марусю. На быках и лошади Коржавин с Мишкой завозили из города Новосибирска через базу Облоно койки, посуду, пальто, штаны, рубахи, ботинки, одеяла, постельное и т. д. И всё это за двести километров до оттепелей, пока есть зимняя дорога. Единственная остановка была в Паутово, где была перевалочная база, и можно было остановиться с ночёвкой. А продукты питания – хлеб, муку, крупу, соль, сахар и др. детдом получал через Райпотребсоюз в Пихтовке во Вдовинском сельпо.

Наступало лето. Зеленый ковёр трав и деревьев так и прыскали в глаза своей свежестью! Всё цвело. Мы уцелели, преодолев эту жестокую зиму. Радость и веселье охватили всех: перемены в жизни к лучшему, новые люди, новая обстановка вокруг – всё это поднимало настроение. Нас замечали, мы были кому-то нужны, о нас заботились.

Везде висели портреты Сталина, даже в прачечной, куда мы теперь ежедневно ходили, и мы с благодарностью смотрели на них, радуясь вместе с матерью, которая говорила:

– Это всё он, дети! Сталин наш вождь! Это он спас вас! Если бы не Сталин, мы бы погибли! Молитесь на него и помните всю жизнь!

Боже, как смеялась мать через десять лет, вспоминая свои слова.

Детдом нам понравился сразу. Его порядки, дисциплина, много друзей и товарищей – всё было интересно. Утром по команде вскакиваем с чистой постели на деревянный выскобленный пол, выбегаем на зарядку в зал, а по теплу во двор, затем умываемся, прибираем постели, строимся в колонны по группам и с песней в столовую. Ефимия Лукушина – наш воспитатель. Бойкая, рыжеволосая, всегда весёлая, кричит:

– Дети, по ранжиру становись в колонну! Окишев! Ты самый высокий – первый! Шагом марш! Запеваем! Дети, все дружно подтягивайте!

И начинает громко и задорно:

*Жил в Ростове Витя Черевичкин. В школе он отлично успевал. И в свободный час всегда обычно голубей любимых выпускал. Голуби, мои вы милые. Улетайте в солнечную высь.*

*Голуби, вы сизокрылые. В небо голубое унеслись.*

Затем обязательно начинает свою любимую:

*Ой, при лужке, лужке, лужке — на широком поле. При знакомом табуне — конь гулял по воле.*

Всем сразу становится весело. Мы возбуждаемся, громко поём про то, как «красна девка встала, сон свой рассказала, правой ручкой обняла и поцеловала». Надо ли говорить, как и я полюбил русские песни, которые разучивали мы с воспитательницей! Разгорячённые песней, весёлые, мы по команде садимся за длинные рубленные столы и начинаем уплетать вареную свёклу, обваленную в жареной ржаной муке с подливой. Затем следует сладкий чай.

После завтрака наш инструктор по труду Шмаков и воспитатели Макарова, Татарникова, Лукушина распределяют всем обязанности. Часть старших отправляют на кухню к поварам Дусе Гладких и Киселёвой Любе помогать убирать, мыть посуду, чистить картошку, дрова пилить-колоть и т. д. Нескольким старшим девчонкам главный повар Ольга Шарандак рассказывала и учила, как готовить все блюда немудрящей детдомовской кухни. Малыши оставались на попечении двух нянь – Бобровой Люды и Нечаевой Натальи.

Летом обычно дети круглыми днями были на спортплощадке. Ну, а все остальные отправлялись на работы в приусадебном участке, где на грядках выращивали овощи для себя. Позже стали под руководством Шмакова Анатолия и пионервожатых Сметаниной и Гребенкиной выезжать на сенокос. Для двух быков и лошади надо было накосить 120 центнеров сена.

Покосы были на Уголках, в девяти километрах от Вдовино (ранее там был хутор). Для старших воспитанников Коржавин сделал на колхозной кузне маленькие литовки, а остальные переворачивали, гребли, метали в копны сено.

Осенью весь детдом от мала до велика работал на колхоз. Собирали колоски ржи на полях, дёргали лён, турнепс, свёклу и брюкву, копали и собирали картошку, горох, сгребали и грузили солому. Трудовое воспитание вошло в нашу детдомовскую жизнь с первых дней. Ну, а зимой все учились, занимались в кружках по труду, рисованию, пению, танцах и в художественной самодеятельности.

Вечером перед отбоем в зале проводилась линейка. Выстраивались все отряды, проводилась переключка лично самим директором. Первого директора Ядовинова Ивана Григорьевича мы любили и не боялись. Это был добрый, лопухий, курносый, с неизменной чёлкой и улыбкой дядька с бель-мом на левом глазу. Переключку закончит, улыбнётся:

– Так! Все детки присутствуют? Никто не потерялся? Это хорошо. Драк не было? А я знаю всех хулиганчиков, мне докладывают. Но ничего, я думаю, ребята исправятся. Не будем их наказывать. Как все поработали? Устали? Ничего, сейчас отоспитесь. Спокойной ночи, детки! Разойтись!

Но вскоре доброго Ядовинова сменил злой Микрюков и мы все это почувствовали. Борис Дмитриевич всегда был аккуратно одет в костюм с галстуком (это в глуши-то!). В то время, кроме него, в деревне никто не носил галстуков. Молодой, крепкий, черноволосый, красивый мужчина с широким лицом, неизменно холодный и строгий в обращении со всеми – он внушал мне страх. В первый год я не попадал на тяжёлые работы (шёл девятый год) и у меня было сравнительно много свободного времени.

Плохое в жизни быстро забывается, и я привык к детдому. Кроме того, был необычайно хулиганист, энергичен, криклив и драчлив. Я с такими же друзьями убежал от воспитателей и пропал целыми днями на пруду, речке, болотах, в лесу и к вечерней поверке прибегал весь исхлопанный, ободраный, в синяках, с вечно мокрыми и грязными до колен штанами. Только в зале опомнишься, глядя на себя – грязнулю, и спрячешься в самом заднем третьем ряду за товарищами. Но Микрюков с первых дней «раскусил» меня. Зычно кричит:

– Углов, Алихнович, Захаров, Желонкин, Воропаев – три шага вперёд! Арш! Кругом! Посмотрите, товарищи воспитанники на этих лоботрясов! Государство их одевает, обувает, кормит, учит. Чем они отвечают на заботу государства? Чем они отвечают на заботу о них товарищу Сталину? Как вам не стыдно! После отбоя все будете мыть зал! Всё! Разойтись!

После его нравоучений и «распеканий» я давал себе слово:

– Всё! Больше не полезу в болото, в воду и грязь! Завтра надо прийти на поверку сухим!

Но приходил вечер и я с ужасом оглядывал себя: штаны опять порваны и захлюстаны ещё выше, чем вчера.

Как-то мы со своей группой проходили через спортплощадку, где суровая, черноволосая, как наши кавказцы, воспитательница Макарова распекала за что-то Шурку. Тот ревел, утирал соплю и слюни, а она продолжала гневно долбить бедного Шурку. Во мне что-то шевельнулось, стало до горечи жалко его и я, не сдерживая больше эмоций, выскочил из строя, толкнул Макарову, заорал, заплакал изо всей силы:

– Ты злая тётка! Оставь его!

От неожиданности та оторопела, растерянно и сердито посмотрела на меня, и выругалась:

– Т-ю-ю! Ещё один недотёпа! Маленький какой, а злой! Жалко ему! Сверчок!

– и ушла в сторону, оставив в покое Шурку.

Мы ежедневно забегали к матери в прачечную, провалившуюся до окон от ветхости избу. В прачечной сыро, грязно, темно, копать на стенах, всё в дыму, пару. В ванне на ребристой алюминиевой доске водой с чёрным мылом целыми днями мать ширкала бельё, стирая до крови пальцы на руках. Затем сушила его на верёвках во дворе и гладила паровым утюгом.

На чердаке прачечной под соломенной крышей с маленьким окошком я, Шурка, Талик Нестеров и Тырышкин организовали «тайную явку», куда приносили остатки с обеда – кусочки хлеба и сахара, картошку и морковь с детдомовских грядок. Мы готовились к побегу из детдома. На чердаке развешивали на верёвке и сушёных гальянов – чёрных, похожих на пескарей рыбок. Их мы вылавливали в соседнем пруду на мордушку, украденную у кого-то из местных сибиряков. По одному, чтобы никто не заметил наш «штаб», мы пробирались на чердак, выгружали из карманов добытое, осматривали и проверяли запасы, шептались, строили планы побега из детдома.

Самый старший Тырышкин, наконец, назначил дату побега:

– Завтра вечером после отбоя не спать! Как все задрыхнут, тихо собираемся и выходим. Пусть поищут нас! Пусть Микрюков позлится!

Стемнело. Все собрались у прачечной, забрали все запасы, вышли за деревню, обошли пруд и с обратной стороны детского дома, стараясь не ломать камыш, гуськом вышли на сухой островок – пятачок в камышах, который присмотрели ранее. Было необычайно тепло, тонко звенели комары, но нам было не до них, мы радовались свободе. Нарвали камыша, зарылись в него и всю ночь проговорили обо всём, глядя на яркие звёзды в небе. Талик философствовал:

– Видели, как у магазина гуляют фронтовики? Целыми днями пьют, ругаются, дерутся, а потом обнимаются. Я слышал, один говорит, что война в Германии и Японии не закончилась. Там против наших воюют бендеровцы – лесные люди и какие-то характеристы, что ли, привязанные цепями. Давайте в следующий раз накопим больше припасов и убежим на войну помогать нашим?

Мы все дружно поддержали его. Жизнь была прекрасна – она только начиналась! Мы мечтали, строили планы, было удивительно хорошо, мы клялись в вечной дружбе и верности! Где-то рядом ухал филин, тонко бормотала сплюшка, на воде слышны были постоянные всплёски – это щука гонялась за карасями. Под утро мы уснули. Только к середине дня мы услышали, как ищут нас, кричат вдалеке и даже стреляют из ружья. Так мы прожили два дня, а на третий, когда кончились припасы, мы вышли на расправу к «дирику». Микрюков просто неистовал, собрав весь детдом на экстренную линейку:

– Хулиганьё! Ишь, что удумали! Как вам не совестно смотреть в глаза товарищей, которые два дня искали вас? Всех четверых в карцер! Без ужина! Завтра всех на Уголки! Лишаю ежемесячной конфеты!

Это было уж слишком! Мы окончательно невзлюбили Микрюкова. О конфете мы все много говорили, мечтали, когда подойдёт первое число. На торжественной линейке каждому воспитаннику вручали эту блестящую, крупную – весом 100 грамм – конфету в обёртке из хрустящей, жёлтой, с переливом, бумаге. Твёрдая, сладкая до изнеможения коричневая конфета – и вдруг лишиться такого удовольствия?

Через пятьдесят лет седой, старый, больной Микрюков прилетел из Новосибирска в Кировск. Я встретил его на вокзале, посадил в свою чёрную служебную «Волгу» и шофёр повёз нас на дачу. Мы сидели у камина, пили хороший коньяк, играли в бильярд. Опять пили, я обнимал Микрюкова и мы оба плакали, вспоминая, вспоминая прожитое. Я ни одним словом старался его не ранить и не поминать плохое.

Ну, ладно. Хмурые, угрюмые мы на телеге приехали на следующий день на Уголки. Поразила высокая, выше нашего роста трава. Красота неопишуемая! Цветов уйма, гудят пчёлы, шмели, воздух напоен ароматом подсыхающего сена. Поляны и лес чередуются и уходят к горизонту. Всеми листьями шумит осинник. Лакомимся черёмухой, кислицей и уже поспевающей малиной. Спим в огромном шалаше – стоге сена, готовим обеды на костре, носим воду из ручья, помогаем мыть посуду, убирать, ворошим, переворачиваем сено.

Вечерами сидим у костра, взрослые что-нибудь рассказывают. Запомнился рассказом Шмаков:

– Видели? Ходит здесь много медведей – следы кругом, кал свежий. Они сейчас сытые и избегают людей. Вот в прошлом году был со мной случай. Как-то утром решил рано утром, пока все спят, нарвать ведро малины. А малинники здесь кругом, видели, огромные. Есть в двух, трёх километрах отсюда вообще сплошной малинник. С полкилометра шириной и уходит далеко, далеко в тайгу! Так вот – попил я водички, пошёл вдоль ручья, собираю малину. И вдруг на повороте – бац! Лежит мишка, правда, небольшой первогодок, должно быть, и спит, не слышит меня. А спит так сладко, аж хрюкает! Дай, думаю, напугаю его. Как заору изо всех сил, застучу палкой в ведро! Он спросонок, как сиганёт рядом со мной! Еле успел отскочить! А он бежит быстро и от страха оправляется, поносит! Я сам очухался и давай хохотать!

Мы все тоже рассмеялись, но все дети подвинулись поближе к костру, со страхом поглядывая в черноту леса.

К концу недели из Вдовино приехала подвода. К телеге на верёвке был привязан крупный бычок. Детдом купил его у колхоза для нас, т.к. все запасы на покосах закончились и осталась только картошка. Сторож сельпо Вахонин привёз его и сразу же привязал бычка к дереву. Коржавин с Мозолевским положили осиновою оглоблю на спину бычка, а Вахонин приставил большой нож между рогами сверху и вдруг резко, с криком, ударил другой рукой по черенку ножа. И почти мгновенно бык упал на передние ноги, а Иван Афанасьевич и Мишка придавили оглоблей и повалили быка наземь. Вахонин также быстро перерезал горло бычку. Я от страха забежал в шалаш – меня бил озноб. Мне было жаль бычка, я отказался от аппетитного ужина, всю ночь не спал, ворочался и кричал. Наутро тот же Вахонин отвёз меня назад в детдом,

в медизолятор, т. к. Шмаков решил, что я серьёзно заболел. В медизоляторе приветливая и ласковая Мария Леонидовна Щербинская (та, что ехала с нами на одной подводе при пересылке) ощупала, простукала, расспросила меня, засунула под мышку блестящий термометр, напоила какими-то лекарствами и я на следующий день был, «как огурчик»!

Мне шёл девятый год и, наконец, с опозданием, я пошёл в первый класс! С этого дня в мою жизнь надолго – на семь лет, вошла первая моя учительница и спасительница Ольга Федосеевна Афанасьева. Круглолицая, полненькая, с необычайно добрыми глазами, в неизменном сером, в полоску костюме. Первые четыре класса она преподавала практически все предметы: учила писать, читать, рисовать, учила арифметике и чистописанию, учила жизни, открывала глаза в необъятный мир.

Обычный школьный день первого класса. Чистописание. Сидим, высунув язычки, трудимся – выводим палочки, затем крючочки, а в завершение, через три месяца, первые буквы. Ольга Федосеевна ходит между рядами, заглядывает каждому в тетрадь и монотонно приговаривает:

– Ровнее, ровнее. Не забывайте про наклон палочек. Шестаков! У тебя крючки слишком большие! Вспомни свой крючок на удочке! Дети! Не спешите! Помните, что сейчас закладываются основы вашего письма. Будете неряшливы, и почерк будет у вас всю жизнь корявый!

А уже через три, четыре месяца другой разговор:

– Правильное чистописание – залог успеха в жизни! Сегодня начинаем писать буквы и слоги, изменяя нажим пера. Посмотрите на образец! Видите, как красиво написана фраза! В начале буквы и в конце, потоньше, т. е. волокнистая линия, а серединка толстая – будете нажимать сильнее перо.

И опять месяца два Ольга Федосеевна заботливо учит нас:

– Нажим, волокнистая! Нажим, волокнистая!

Именно с этих первых уроков практически у всех в конце концов получился красивый почерк. Просматривая через десятилетия свои детские дневники (а их было семь больших толстых тетрадей), я поражаюсь, какой красивый почерк был у меня. Да и у Шурки ничуть не хуже! Так ли сейчас учат детей? Нет, конечно! И учителя и ученики теперь другие – гораздо хуже! В этом я твёрдо убеждён!

Учёба давалась мне легко, я был в отличниках без особого труда. Ко мне Ольга Федосеевна, мне кажется, благоволила больше всех! Выделяла, постоянно хвалила, впоследствии назначила председателем Совета отрядов пионеров.

Кстати, запомнилось, как нас принимали в пионеры. Хором выучили:

— *Как повяжут галстук, береги его!*

*Он ведь с красным знаменем цвета одного!*

Помню до сих пор торжественные сборы, дробь барабанов. Ольга Федосеевна командует:

– Звеньевым! Сдать рапорта председателю!

Звеньевые подходят ко мне по очереди и коротко докладывают свои рапорта (сколько пионеров в отряде, нет ли происшествий, больных, отличников и отстающих и т. д.).

– Рапорт сдал!

Отвечаю:

– Рапорт принял!

Я с поднятой рукой в пионерском приветствии, чеканя шаг, на виду отрядов иду к любимой учительнице и, задыхаясь от восторга и волнения, докладываю сводный рапорт.

Легко и быстро научившись читать, я очень полюбил книги и постоянно бегал в детдомовскую библиотеку. Ольга Федосеевна всегда на уроке литературы заставляла всех по очереди читать небольшие абзацы из произведений русских писателей, но больше всех доверяла мне, т. к. я научился читать с выражением. Мне нравилось, что весь класс, притихнув, слушает моё чтение и от волнения мой голос звенел.

Директором школы был Платонов, а завучем Вера Яновская. Впоследствии, когда заведующий больницей Маранс передал дела Карпухиной Анастасии, мать перешла в больницу поваром.

А в 1949 году детдом стал называться интернатом с новым директором Трескиной Галиной.

Пришла очередная зима, но в детдоме было сытно, хотя и не было мясных блюд, и интересно. На верстаках старшеклассники пилили, строгали, мастерили скамейки, столы, бочки, лыжи, сани. Девчонки постарше в другой комнате долгими зимними вечерами шили, латали одежду, вязали. Здесь же инструктор по труду Шмаков с Мозолевским ремонтировали, подшивали наши валенки – пимы. Для самых младших была комната, где мы художничали, вырезали из бумаги картинки, фигурные детали, колечки, раскрашивали их, готовясь к первому в моей жизни Новому году. Ну, и по графику выполняли свои обязанности по уборке, дежурстве на кухне, пилили, кололи дрова, убирали и расчищали дорожки от снега, который выпадал практически ежедневно.

## **Глава 11**

## Детдом

*Там, где бури, выюги хмуры восемь месяцев в году. Был тощим одним вопросом — жив отец и или в раю?*

Новая воспитательница (ссылная из Пятигорска) Жигульская Мария Георгиевна вовлекла меня в художественную самодеятельность. Мы разучивали танцы: падеграс, краковяк и русский танец, готовясь к Перво-майскому концерту. Всю зиму мы тренировались, и всегда Марина ставила меня во второй паре за своим сыном Вовкой Жигульским.

Я ещё не догадывался, что Вовка станет моим основным другом и соперником на многие десятилетия и, пожалуй, ни один из моих друзей во всей жизни (а их было очень много) не оставит у меня так много впечатлений, размышлений и подражания. Вовка был польских кровей (отец поляк, мать русская) и очень этим гордился. Отец у него был лётчиком, его сбили и он попал, как и мой отец, в плен, а теперь его семья (мать, бабушка и Вовка) отбывали здесь, в Сибири «наказание». Вовка – красивый, сероглазый, светловолосый, гордый и прямой, как столб, холодно выводил «па» с изящной и симпатичной Стэлкой Невской, а я за ним терпел, сопел и ненавидел идущую со мной в паре белобрысую, некрасивую Зинку Зиновьеву. Стэлка также чувствовала ко мне симпатию ещё с пересыльного вагона. Я это ощущал по её взглядам и ей, видно, было страшно неприятно, как высокомерно обращался с ней Вовка. Мы уже довольно прилично научились танцевать – я до сих пор помню и могу исполнить начало падеграса.

И вот он, праздник, и мы выступаем! Причёсанные, в белых рубашечках и чёрных брючках, а девочки все в белом – мы волнуемся и надо уже становиться в пары (всего их четыре). И вдруг Стэлка, глядя смело в лицо Марины, заявила:

– Мария Георгиевна! Я не буду танцевать с вашим сыном. Поставьте меня в паре с Колей! Мария Георгиевна сначала опешила, затем начала убеждать Стэлку:

– Стэлочка! Как ты не можешь понять – всё может сейчас поломаться. Вы же привыкли друг к другу! Надо было раньше сказать мне об этом. Сейчас занавес откроется – не упорствуй, Стэла. Я тебя очень прошу!

Но Стэлка настаивала на своём. Вовка вспыхнул и закричал нервно:

– Мама, пускай идёт в паре с кем хочет! Коза-дереза! Возомнила из себя красотку!

Занавес раздвинулся. Марина кивнула Стэлке, сдавшись. Мы быстро стали в ряд. Я смешался, покраснел, и сразу забыл весь танец. Взялись за руки. Пяточка, носок, правой два раза, притопнули обеими ногами и пошли по кругу весело и задорно под гармонь. Я весь сиял, Стэлка тоже улыбалась, а во второй паре злой Вовка швырял угрюмую Зинку и всё старался наступить нам на пятки.

Жизнь в детдоме кипела, бурлила. Подъём, зарядка, умывание холодной водой во дворе из трубы, в которой сделаны самодельные соски – краны. Затем санитарный осмотр, где придирчивые дежурные девчонки обязательно проверят заправку постелей и заставят переделать, если сделано неряшливо. Затем проверят и самого – как одежда, обувь, ногти, стрижка. Перед входом в столовую ещё раз покажи руки ладошками вверх и вниз. В столовой тоже не шуми, не кричи, а то выгонят и будешь голодный до обеда. Порции очень маленькие, а так ещё хочется свеклы, обжаренной в чёрной муке или макарон на маргарине. Затем учёба, а после занятий обязательный общий хор, на котором Лукушина разучивала с нами новую песню про Ленина и Сталина:

*Ой, как первый сокол, со вторым прощался,*

*Он с предсмертным словом, к другу обращался.*

*Сокол ты мой сизый, час пришел расстаться,  
Все труды, заботы, на тебя ложатся.  
А другой ответил: позабудь тревоги,  
Мы тебе клянемся — не свернем с дороги!  
И сдержал он клятву, клятву боевую.  
Сделал он счастливой всю страну родную!*

Затем обед, зимой «мёртвый час», два часа труда и перед ужином личное время – самое долгожданное, когда можно было исчезнуть от воспитателей во главе с вездесущим Микрюковым.

Наступила весна, и везде надо было мне побывать, т. к. уже места становились знакомые, обжитые. Шмаков поручил нашей группе ремонт и изготовление новых скворечников – их наделали больше тридцати. Я впервые в жизни изготовил сам скворечник, повесил его рядом с детдомом на дереве так, чтобы можно было наблюдать за ним из класса. С этих пор началась моя любовь к скворцам, которая не прошла и сейчас. Опять начались лесные палы – пожары, опять меня тянула речка с её ледоходом, пруд с его кишашими чёрными гальянами, мельница с водопадом, мокрые луга, кочки и лес, стеной подступающий к детдому со стороны Уголков. Возвращался мокрый, грязный, исцарапанный. И вот уже опять эта проклятая линейка, где никак не ускользнуть от Микрюкова.

Руки и ноги опять покрылись цыпками. Кожа покраснела, потрескалась, из рубцов сочилась кровь. Тихая и добрая няня Нечаева Наталья Ивановна ворчала, смазывая солидолом мои раны:

– Вот пострел, что натворил! Эк, угораздило! Где же тебя так носит? Зачем ты лезешь в воду? Смотри, что творится с руками, ногами?

– Ой, больно! Не надо так! Тихо, тише, очень больно!

– Всё, всё! Не дёргайся! Сейчас только перевяжу ноги вот этими кусками простыней. Старайся не елозить ногами, чтобы ночью не сорвать. К утру заживёт.

И, правда, утром было значительно легче.

Но наступал день, опять всё забывалось и я с Таликом, Алихновичем и Желонкиным опять лезли в пруд за мордушками, выслеживали лягушек и их икру между кочками в болотах. Лягушечья икра висела крупными шарами между кочками и мы любили ею кидаться в тёплой воде так, что к вечеру остатки икры были в ушах, на голове и на одежде. В лесу плюхались с высоких кочек, оступаясь, когда зарили гнёзда сорок и ворон. Опять я начал получать выговоры и наказания от Микрюкова и моя мечта попасть в поход со Шмаковым на озёра рухнула. Шурка стал писать стишки и маленькие рассказы в стенгазету – его стали хвалить.

К матери в прачечную мы забегали теперь реже. В тесном помещении всегда был пар, душно, влажно. Бельё везде лежало горками – и стиранное и грязное, мокрое, глаженое. Пахло щёлоком, мылом и дымом от печки. Мать заученными движениями на ребристой доске «ширкает» бельё правой рукой, придерживая левой снизу бельё и доску. Мыльная пена накапливается и мы хватаем её, пускаем пузырьей. Зимой интересно было наблюдать, когда мать заносила мороженое бельё, которое топорщилось, занимало всю комнату. От белья исходил приятный свежий запах. Мать жаловалась, плакала, трясла озябшими руками и совала их к печке, ругала ужасный мороз и всю эту «проклятую жизнь». Поплакав, начинала нас угощать чем-нибудь немудрящим – картошкой, овсяным киселём, хлебом с комбижиром. Жаловалась, что Микрюков её «заедает», придирается, возвращает часто в повторную стирку абсолютно чистое бельё, унижает её досмотрами, ревизиями и проверками; маркирует каждый кусок мыла по несколько раз в день. Ей трудно обстирывать почти 200 человек, а помощницу он не даёт, но зато следит, чтобы она не «ходила и не ела на кухню». Было жалко её, больно было смотреть на её слёзы, а иногда, после её громких причитаний навзрыд мы и сами ревели.

– Ой, да на кого же ты нас поки-и-и-нул, отец наш доро-о-о-гой! Ой, да где ж ты наш корми-и-и-лец? Ой, да за что же с детьми мучаю-ю-ю-сь?

Мать голосила так, что мы не выдерживали. Такие причитания, такое безутешное горе матери сразу нас «брало» – было жалко мать, себя, Шурку и мы тоже начинали плакать.

В такие минуты я вспоминал отца и начинал соображать:

– «Почему мы здесь? Как это получилось? Почему мать не говорит правду нам? Кто виноват, что нас оторвали от родного дома и сослали в эту проклятую Сибирь? Ведь Сталин хороший – он не знает о нашем горе, а то бы помог нам освободиться. А отец почему-то молчит и не заступится за нас? Где он? Живой ли? Если живой, почему не приедет, не заберёт мать и нас к себе?»

Так хотелось отцовской ласки – прижаться бы сейчас к чуть колючим щекам и бороде. Часто вспоминал отца, но он всё дальше уходил от меня в неизвестность.

Как-то мать встретила меня встревожено и со слезами:

– Коля, сегодня ночью меня чуть не задушил домовый!

– Как это?

– Легла поздно ночью, много было стирки. Перед тем, как ложиться вышла на улицу. Ти-и-хо в деревне, даже собаки не лают. Только полная луна ярко светит, бледно, бледно всё вокруг. И так что-то жутко стало мне от этой луны. Вошла назад, в сенцах крючок накинула, и только дверь в прачечную открыла – вдруг как загремит таз с печки! Затряслась, испугалась я сильно – с чего это он упал? Никого же не было! Кошку я не держу, кто бы это мог таз уронить? потушила лампаду и быстрее на лавку – постель у печи. Накрылась с головой старой дохой, что дал Вахонин. Лежу, дрожу и вроде стала засыпать. И вдруг явственно слышу, вроде, спрыгнул босиком кто-то с печки. Мне жутко, страшно кричать, не кричать? Ой, боже мой, шаги. Ти-и-хо идёт ко мне. Вот уже близко дыхание, медленно ложится рядом, легонько отталкивая меня. Сковало всю, оцепенела от страха, а руки волосатые, холодные тянутся к горлу и сжимают, сжимают всё сильнее. Заорала, закричала я и сверхъестественным усилием сбросила огромную тяжесть домового. Исчез он, и только за печкой раздалось – КХУУУУ! Проснулась я, зажгла лампадку, трясусь, оделась и убежала из прачечной ночевать к Ольге Шарандак. Колечка! Что же делать? Я теперь боюсь здесь ночевать.

Я, как мог, стал утешать мать, а сам опасливо поглядывал на печь:

– Мама! Да это тебе, может, приснилось. И вот что я слышал от местных. Домовых и леших в лесу здесь, правда, хватает. Бояться их не надо, они в каждом доме живут. И вот, если он пристаёт к тебе, надо спросить – к худу или к добру ты здесь, дедушка?

Весна была дождливой, холодной. Но вот нас, наконец, вывели копать, сажать на огород детдома. Нам с Таликом и Алихновичем дали другое задание – вкапывать короткие и толстые берёзовые чурочки вдоль всего здания по натянутому шнуру, чтобы они выступали над поверхностью на высоту спичечного коробка. Получалась красивая отмостка. Яшка Алихнович не столько помогал, сколько мешал – кидал комки грязи в кого-нибудь, кто не видит. Вчера его выгнала из класса Елизавета Микрюкова за то, что он выпустил посреди урока из-под парты воробья, и весь класс следил за ним. А перед этим он выпустил у неё же на уроке лягушку. Елизавета была здесь же, она кричала на всех, суетилась, её резкий скрипучий голос слышался отовсюду. Какое-то время она очутилась около лужи, которая ещё сохранилась рядом с детдомом. И вдруг в лужу откуда-то сверху ухнула большая глыба грязи и обдала Елизавету с ног до головы. Та опешила, покраснела, потеряла дар речи, вся растерянная, в грязи – кинулась бежать отмываться. И тут мы увидели на крыше Алихновича. И когда он успел туда забраться? Злой и красный Микрюков куда-то побежал, принёс длинную лестницу и стал ставить к крыше дома. Алихнович взлетел к самому коньку крыши, понёсся от Микрюкова, оступился, заорал,

покатился по крутому откосу и брякнулся с высоты второго этажа прямо на наши чурочки. Ну, всё – конец Яшке!

Когда мы подбежали – он не дышал, был бледен, лицо всё было в крови. Микрюков подбежал, перепугался, закричал:

– Медсестру! Быстрее кто-нибудь, бежите за медсестрой!

Прибежала, охая, маленькая Мария Леонидовна. Что-то начала совать под нос Яшки. Он зашевелился, очнулся, заморгал виновато глазами, приподнялся. Его положили в лазарет, откуда он сбежал через полчаса.

С Алихновичем мы любили бывать на водопаде. На верхнем пруду стояла деревянная мельница и был сброс воды через широкий деревянный жёлоб в нижний пруд. Мы любили кидать в жёлоб лопухи, щепки, палки. Интересно было смотреть, как они с высоты трёх, четырёх метров несутся по бурному жёлобу, летят в водопаде, исчезают в глубине и далеко выныривают. Как-то мы бегали, бегали от одного края моста плотины к другому и Яшка не удержался, заорал, рухнул за своим лопухом прямо в водопад. Я перепугался, закричал – взрослых рядом никого. Алихновича тоже нет. Исчез, утонул! Стало жутко... Мы же ещё не научились плавать. И вдруг далеко в пене показалась бритая лопухая голова Яшки. Ура! Его прибило к берегу, я побежал и подал руку. Он вышел с полными отдутыми карманами воды.

В эту весну, когда деревья от сока особенно гибкие, мы с Яшкой научились кататься на них. Выбирали стройные, высокие, гибкие вёгла, иву и тальник. Забираешься на соседнее дерево и прыгаешь, стараясь ухватить за самую вершину. Дерево гнётся под тяжестью и всё быстрее, быстрее летишь с визгом к земле, как на парашюте. Не раз и не два мы падали с Алихновичем, когда не рассчитаешь дерево, и оно резко обламывается. Один раз я упал так, что был без сознания несколько минут, не мог никак вздохнуть. Дыхание замерло, больно ужасно, из глаз слёзы, стону. Но вот, наконец, первый вздох! Ура! Жизнь продолжается! Несколько дней после этого случая больно было вздохнуть, грудь, бока болят. Но пройдёт немного времени и опять тянет покататься на деревьях.

По вечерам в свободное время иногда собирались на спортплощадке учителя, пионервожатые, взрослые и некоторые младшие воспитанники, рабочие кухни и даже несколько деревенских – поговорить, поделиться новостями, погрызть коноплю, семечки и просто пообщаться. Радио, света, телефона, газет на деревне ещё не было. Все новости доходили через людей, ездивших на быках и, редко, на лошадях в областной город по работе. А первая машина появилась у нас только в 1949 году.

Так вот, заведут взрослые костерок от комаров, вынесет Спирина пару керосиновых ламп, все рассядутся кружком и потечёт тихо беседа. Кто-нибудь спрашивает:

– Виктор Павлович (Татьянин), Иван Афанасьевич (Коржавин), Михаил (Мозолевский) – расскажите о войне!

Затянутся махрой фронтовики и начинают по очереди рассказывать о прошедшей неслышанной войне, о своих убитых и покалеченных товарищах, о военных страданиях, приключениях и подвигах.

Запомнил рассказ Коржавина, как он чудом спасся от смерти. Курит, сплёвывает постоянно и негромко рассказывает:

– Был как-то жестокий бой. Немцы бомбили нас непрерывно – и с воздуха, и миномёты, и артиллерия. Оглушило меня и контузило. Очнулся, наших нет, лежу раненый в глинистой луже в окопчике. Пролежал час или два, чуть очухался, слышу вдалеке разговор. Высунулся – немцы с автоматами наперевес тихо идут. Притворился мёртвым, ещё глубже в грязь залез, только голова торчит над водой. Вдруг, когда немцы уже были рядом, на нос возьми и прыгни лягушонок. Уселась лягушка, скребёт лапками в самые ноздри, того и гляди чихну. Терплю изо всей силы, т.к. чую – немец на меня смотрит. Пнул он меня сапогом, лягушка спрыгнула, а немец пошёл дальше. А потом меня через ночь спасли наши.

Я любил слушать такие рассказы о войне, прикорнув где-нибудь, чаще около Ольги Федосеевны. У женщин уйма других разговоров – о жизни, работе, семье, детях. Спирина рассказывала, как они спаслись от голода, заманивая и ловя собак и кошек, которых убивали, варили и ели.

Татьянина, молодая красивая женщина перебивает:

– А вы знаете, что в нашей деревне живёт ведьма? В самом крайнем доме, как идти на Жирновку, проживает старая бабка Силаиха. Притворяется больной и немощной, а на самом деле ночами она превращается в чёрного огромного ужа, который выдаивает, высасывает из вымени соседских коров молоко. Ей богу, сама видела в своём хлеву этого ужа! Висит на сосках, раздувается, а корова плачет.

Инка Пономарёва подхватывает:

– Как-то смотрю: уже поздно вечером забралась к нам в огород огромная чёрная свинья. Чёрти что? Чья она – не знаю! Я её выгнала из огорода, огрела дубиной, гоню потихоньку через ручей от Волковых на край села ко двору Силаевых. Густая крапива, лопухи, конопля и сумрак сплошной. Исчезла вдруг свинья! Куда она делась? Я уже только хотела вернуться назад, вдруг неожиданно свинья показалась рядом, остановилась, повернула голову ко мне и так жутко смотрит на меня. Блеснули у неё глаза огоньком, страшно мне стало, волосы вмиг стали дыбом. А свинья оскалилась, жёлтые клыки покрылись пеной. Я как заорала не своим голосом и бежать от неё! А свинья за мной! Еле успела заскочить в дом.

Тема ведьм, чертей, домовых, леших была самой неиссякаемой. Я очень любил слушать про всё это – было страшно, но интересно. Причём, все верили в это, и я убеждался не раз, что всё это неспроста. Многим явлениям, о которых я расскажу позже, до сего времени не могу дать оценки.

## Глава 12

## Друзья и враги

*Кажется сегодня мне, что у нас с тобою было две страны. Первая страна вставала на виду у всей Земли.*

*Радостно рапортовала! А вторую вдаль везли. Вмиг перерубались корни. Поезд мчался по полям.*

*И у всех, кто есть в вагоне, «сто шестнадцать пополам»...*

*Р. Рождественский*

В комнате, где мы художничали, я ещё больше подружился с Таликом Нестеровым. Если у меня с рисованием ничего не получалось, то у него был явный талант и его рисунки сразу же начали вешать на выставке работ в общем зале. Рыженький, худенький, курносый, с торчащими ушами – этот мальчик был застенчив, добр, никогда ни с кем не конфликтовал и не повышал голоса. Его веснучатое лицо всегда улыбалось, глаза были внимательны и умны. Талик стал главным художником стенгазеты, в которой отражалась вся наша жизнь. В спальне наши койки стояли рядом, вечерами мы долго шептались. Перед отбоем у нас был свободный час. Что тут творилось? Шум, гам, хохот, игры, все гоняются друг за другом, взрослые мальчишки заигрывают с девчонками, щипают и таскают их за волосы.

Мы с Таликом вечно заиграемся и не успеваем сбегать на улицу в туалет, а тут команда – «Отбой!». В углу большого зала был гардероб, где стояли тесными рядами вешалки с нашими пальто, а в самом углу находилось ведро с тряпками и метла нашего истопника Спириной Нади (матери Клавки, которая тоже выжила). Мы с Таликом с затаённым сердцем вечерами после отбоя пробираемся в заветный угол и пишем в ведро, а зачастую и мимо. Спирина пожаловалась Микрюкову и он устроил засаду из числа старшеклассников. Однажды мы были с победным криком схвачены и приведены в учительскую. Всех подняли по тревоге, выстроили. Микрюков был красный от гнева:

– Опять этот хулиган Углов! До чего дошли наши воспитанники – не жалко труда своих матерей! И этот тихоня! Завтра же вдвоём выпустите экстренный выпуск стенгазеты под названием «Ссыкуны!» Всем отбой!

Весь следующий день мы просидели над газетой (я писал обличающий текст), а Талик очень выразительно нарисовал двух писающих мальчиков среди вешалок с пальто. Над нами все смеялись и ещё долго прозывали «ссыкунишками».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.